

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ДЖОЗЕФ КОНРАД

КАПРИЗ
ОЛМЭЙРА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ДЖОЗЕФА КОНРАДА

JOSEPH CONRAD

1895

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЖОЗЕФ КОНРАД

КАПРИЗ ОЛМЭЙРА

ПЕРЕВОД М. А. САЛОМОН
ПОД РЕДАКЦИЕЙ К. ЧУКОВ-
СКОГО и СТ. ВОЛЬСКОГО
ПРЕДИСЛОВИЕ К. ЧУКОВСКОГО

ПЕТЕРБУРГ—МСМХХІІІ—МОСКВА

Памяти Т. Б.

БАПРИЗ ОЛМЭЙРА

ALMAYER'S FOLLY

1895

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный английский писатель Джозеф Конрад по происхождению—поляк. Его настоящее имя—Теодор Иозеф Конрад Каженёвский (Karzeniowski). Он родился в 1856 году на Украине. Ему было пять лет, когда в Польше началось восстание. Его отец, как мятежник, был вместе с семьёю сослан русским правительством в Вологду. Мать мальчика не вынесла сурового климата и вскоре скончалась. Его послали в Краков—учиться. На семнадцатом году жизни его охватило непобедимое влечение к морю. Он убежал в Константинополь и поступил матросом на французское судно. В мае 1878 года он впервые очутился в Англии. Английского языка он не знал, но с изумительной легкостью усвоил его в несколько месяцев. Осенью того же года он поступил матросом на английский корабль и вскоре дослужился до помощника капитана. Служил он только на торговых судах. В 1884 году он принял английское подданство. Двадцать лет он плавал по морю и расстался с ним лишь на 37 году жизни, решив поселиться в Англии и посвятить себя литературному творчеству. Через год, в 1895 году, был напечатан его первый роман „Каприз Олмэйра“, действие которого происходит на острове Яве. Роман имел успех. Критика назвала Конрада „Киплингом Малайского Архипелага“. Следующие произведения Конрада упрочили его литературную славу. Из его *морских* повестей и романов наиболее замечательны: „Негр с Нарцисса“ (1897), „Тайфун“ (1903) и „Зеркало Моря“ (1906). В Англии к Конраду относятся с величайшим уважением, как к одному из лучших мастеров английской прозы. Знатки литературы ставят его гораздо выше таких популярных писателей, как Уэллс, Арнольд Беннет или Бернард Шоу. Больше всего Конраду удается изображение психологии белых людей, очутившихся среди экзотической, дикой природы. Впрочем, в последнее время Конрад расстался со своими обычными темами. У него есть даже сыщичий роман под заглавием „Тайный агент“ (1907); есть роман из русской жизни—„На взгляд Запада“ (1911); есть роман из жизни лондонского высшего общества—„Случай“ (1914), и т. д. Этот последний роман, который отнюдь не является лучшим достижением Конрада, имел наибольший успех в самых широких кругах. В последнее время Конрад стал писать для театра.

Его первый роман „Каприз Олиэира“, несмотря на некоторую вялость манеры, почитается одним из самых крупных произведений современной английской словесности. Нужно, однако, сказать, что фигура слабого Олиэира, сокрушенного низшей малайской культурой, не является типической, так как на островах Полинезии большинство европейских колонизаторов этого края отличались, напротив, буйной и свирепой энергией. Стоит только вспомнить знаменитый роман голландского писателя Мультиули „Макс Гавеллаар“ (1860), где изображается тот жестокий звериный быт, который внесли европейцы в туземную жизнь. Олиэир среди англичан и голландцев отнюдь не правило, но исключение.

Теперь, когда европейцы познакомились с малайцами ближе, они лучше поняли сложный характер этого восточного народа. Малайцы веселы, сластолюбивы, беззаботны; любят яркие платья; работу ненавидят; денег не ценят; гостеприимны; друзьям не изменяют никогда; по отношению к врагам вероломны, безжалостны, хитры, однако нельзя забывать, что многие отрицательные черты в характере этого племени выработаны под влиянием хищнической политики европейцев.

К. Чуковский

ГЛАВА I

— Каспар! Макан!

Хорошо знакомый Олмэйру визгливый голос спугнул его мечту о счастливом будущем и вернул его к неприятной действительности. Пренеприятный голос! Олмэйр слышал его в течение многих лет, и с каждым годом он становился ему все противнее. Но не беда,—всему этому скоро конец!

Он беспокойно пошевелился, но больше ничем не отозвался на оклик. Опершись обоими локтями на балюстраду веранды, он продолжал пристально глядеть на широкую реку, равнодушно и торопливо, протекавшую перед его глазами. Он любил глядеть на нее в часы заката, может быть потому, что в это время заходящее солнце зажигало воды Пантэя золотыми отблесками; а мысли Олмэйра часто вращались вокруг золота—того золота, которого ему не удалось добыть, которое другие добыли—бесчестным путем, разумеется,—того золота, которое он еще надеялся добыть честным трудом для себя и для Найны. Он весь ушел в мечту о богатстве и могуществе, которым он будет наслаждаться далеко, далеко от этого побережья, где он прожил столько лет. Он забывал горечь трудов и борьбы в ожидании грядущей великой и блестящей награды. Они с дочерью будут жить в Европе. Они будут богаты и почитаемы всеми. Перед лицом ее дивной красоты и его огромного богатства все и думать забудут о том, что Найна—дочь темнокожей. Глядя на ее торжество, он сам вновь помолодеет, позабудет о двадцати-пяти годах мучительной борьбы на этом берегу, где он чувствовал себя как в плену. И все это вот-вот дастся ему в руки—стоит только Дэйну вернуться. А вернуться он должен и даже очень скоро; ведь в этом он лично заинтересован, так как ему предстоит получить свою долю. Он опоздал на целую неделю! Может быть, он вернется сегодня вечером.

Так думал Олмэйр, стоя на веранде своего нового, но уже разваливающегося дома,—этой последней неудачи в его

жизни,—и глядя на широкую реку. Сегодня река не отличалась золотом; она вздулась от дождей и катилась перед его рассеянным взором бурным и мутным потоком, неся мелкий сплавной лес и крупные бревна, а временами даже целые вырванные с корнем деревья со всеми ветвями и листьями, среди которых вода сердито крутилась и бурлила.

Одно из таких плывущих деревьев прибило течением к пологому берегу как-раз против дома; Олмэйр, перестав на минуту мечтать, с вялым любопытством принялся наблюдать за деревом. Обдаваемое шумящими и пенящимися волнами, оно медленно повертывалось, и вскоре, преодолев препятствие, снова поплыло вниз по течению. Медленно переворачиваясь, оно поднимало кверху длинную обнаженную ветку, подобную руке, воздетой к небесам с немим проклятием ненужному и грубому насилию реки. Олмэйр почему-то все более и более интересовался участью этого дерева. Он даже перегнулся через перила, чтобы посмотреть, минует ли оно отмель внизу. Оно миновало ее; тогда Олмэйр выпрямился и подумал, что отныне путь дерева свободен вплоть до самого моря. И он позавидовал этому бездушному предмету, постепенно удалявшемуся и сливавшемуся с темнотою. Когда он совершенно потерял бревно из виду, он задумался о том, как далеко уйдет оно в открытое море. Куда понесет его течением,—к северу или к югу? Вероятно, к югу. А затем оно поплывет куда-нибудь к Целебесу, а может быть и Макассару.

Макассар! Пылкая фантазия Олмэйра опередила дерево в его воображаемом странствии, но память его, перенесясь назад лет на двадцать или больше, во мгновение ока воскресила перед ним молодого Олмэйра, стройного, со скромными манерами, в белом костюме. Вот он высаживается на макассарской пристани. Он приехал сюда искать счастья в конторах старика Гедига. Это была важная пора в его жизни, начало нового существования. Отец его, мелкий служащий ботанического сада в Буйтензорге, разумеется, рад был пристроить сына на службу в такой фирме. Да и сам юноша не прочь был покинуть нездоровые берега Явы и убогую обстановку родительского дома, где отец день-деньской ворчал на тупость садовников-туземцев, а мать, развалившись в качалке, непрерывно оплакивала покинутый Амстердам, где она воспитывалась и пользовалась почетным положением в свете, как дочь торговца сигарами.

Олмэйр покинул отеческий кров с легким сердцем и с еще более легким карманом; он хорошо говорил по-английски, был силен в арифметике и готовился покорить мир, ни минуты не сомневаясь в успехе.

Теперь, слишком двадцать лет спустя, задыхаясь от жары борнейского вечера, он со скорбным удовольствием вспоминал высокие и прохладные склады Гедига, с длинными, прямыми проходами между бочками джина и тюками манчестерских товаров и с бесшумно-распахивающейся входной дверью; вспоминал их слабое освещение, такое приятное после ослепительного уличного света, маленькие отгороженные закоулки между горами товаров, где конторщики-китайцы, аккуратные, свежие, с печальными глазками, молчаливо и быстро писали что-то; вспоминал грохот бочек и ящиков, передвигаемых и перекатываемых толпой рабочих под аккомпанимент тихой песни, внезапно оканчивавшейся отчаянными вскриками. В дальнем конце помещения, против входной двери, было отгорожено обширное, хорошо освещенное пространство; шум долетал туда заглушенный расстоянием, и в воздухе носилось нежное непрерывное звяканье серебряных гульденов; счетом этих гульденов занимались другие китайцы, такие же скромные; они складывали монеты в столбики под наблюдением м-ра Винка, кассира, гения-покровителя этого места и правой руки хозяина.

В этом свободном пространстве занимался и Олмэйр, сидя неподалеку от маленькой зеленой дверки, близ которой всегда стоял малаец в красной чалме и с красным поясом; рука малайца держала свисавшую откуда-то сверху веревочку и двигалась вверх и вниз с правильностью машины. Веребочка приводила в движение „пунку“, поставленную по ту сторону зеленой дверки, в так называемом „приватном кабинете“, где сам хозяин, старик Гедиг, принимал и занимал шумливых гостей. По временам зеленая дверка распахивалась, и сквозь синеватые клубы табачного дыма вырисовывался длинный стол, уставленный бутылками самых разнообразных форм и высокими кувшинами, и плетеные кресла с развалившимися в них людьми. Хозяин высовывал голову из двери и, держась за ручку, таинственно бурчал что-нибудь Винку, или громовым голосом на весь склад выкрикивал какое-нибудь приказание, или, заметив нерешительно озирающегося посетителя, приветствовал его дружелюбным ревом: „Добро пожаловать, капитан! Откуда? Из Бали, а? Есть у вас лошадки, а? Мне нужны лошадки! Мне нужно все, что у вас есть! Ха-ха-ха!“ Тут посетитель втаскивался в комнату среди целой бури восклицаний, дверь захлопывалась, и комната вновь наполнялась обычным шумом, пением рабочих, грохотом бочек, дарапаньем быстрых перьев; а надо всем этим носился музыкальный звон крупных серебряных монет, непрерывно струившихся между желтыми пальцами внимательных китайцев.

В ту пору жизнь и торговля ключом били в Макассаре. Туда стремились все смельчаки, оснастившие шхуны на австралийском побережье и стекавшиеся на Малайский архипелаг в погоне за деньгами и приключениями. Смелые, беспечные, ловкие дельцы, притом всегда готовые схватиться с пиратами, которых зачастую еще можно было встретить у тех берегов, быстро сколачивающие деньги, они обычно съезжались на общие rendez-vous в заливе, чтобы поторговать и повеселиться. Голландские купцы называли этих людей английскими корабейниками; среди них несомненно попадались люди благородного происхождения, находившие прелесть в таком образе жизни, но в большинстве случаев это были простые моряки. Царем их, по общему признанию, был Том Лингард, тот самый, которого все малайцы—честные и плуты, мирные рыбаки и отчаянные головорезы—именовали Раджа-Лаут, т. е. Владыка Морей.

Олмэйр не пробыл еще и трех дней в Макассаре, а уже вдоволь наслушался рассказов о его ловких деловых оборотах, о его любовных связях, а также о его отчаянных схватках с пиратами племени Сулу,—на ряду с романтической повестью о какой-то девочке, найденной победителем Лингардом на разбойничьем судне, которым он овладел с боя, сбросив за борт весь экипаж. Девочку эту, как все знали, Лингард удочерил, воспитывал в каком-то монастырском пансионе на Яве и называл своею дочерью. Он торжественно поклялся выдать ее замуж за белого, прежде чем он возвратится на родину, и оставить ей весь свой капитал. „А капитал у капитана Лингарда огромный“,—говаривал торжественно м-р Винк, склонив голову на бок:—„уйма денег; больше, чем у Гедига!“ И помолчав немного для того, чтобы дать слушателям опомниться от такого невероятного утверждения, он в пояснение шептал: „Он, знаете ли, реку открыл!“

В этом-то и было все дело: Лингард открыл реку! Именно это обстоятельство возвышало старика Лингарда над остальною массой моряков-авантюристов, которые днем вели дела с Гедигом, а вечером играли, пили шампанское, горлалили песни и ухаживали за метисками на широкой веранде Сунда-Отеля. На эту реку, устье которой было известно только Лингарду, он возил грузы манчестерских товаров, медных гонгов, винтовок и пороха. В таких случаях бриг его „Молния“, которым он сам командовал, незаметно отчаливал ночью от пристани в то время, как собутыльники Лингарда высыпались после ночной попойки; сам же

Лингард отправлялся на борт лишь после того, как перепаивал их всех до последнего, оставаясь при этом трезвым, сколько бы ни выпил. Многие пытались вслед за ним проникнуть в эту обетованную землю гуттаперчи и раттана (индийского камыша), жемчужных раковин и птичьих гнезд, воска и камеди, но маленькая „Молния“ могла обогнать любое судно этих морей. Несколько судов разбилось о подводные отмели и коралловые рифы; весь груз пропал, а люди едва ушли живьем из жестоких объятий этого солнечного, улыбающегося моря; их участь отбила охоту у остальных; и много лет под ряд зеленые, мирные на вид островки сторожили вход в обетованную землю, храня свою тайну с безжалостной невозмутимостью тропической природы. И Лингард уезжал и возвращался из своих тайных или явных экспедиций, а смелость его предприятий и огромные барыши делали его в глазах Олмэйра истинным героем. Да, он представлялся Олмэйру героем, когда он приходил в склад, приветствуя Винка ворчливым „ну, как поживаете?“, а Гедига-Владыку шумным „алло, живы еще, старый разбойник?“—в виде предисловия к деловым разговорам за зеленою дверью. Как часто по вечерам, перед тем как ехать домой с мистером Винком, у которого Олмэйр жил, он убирал бумаги в тишине пустевшего к тому времени склада и останавливался, прислушиваясь к шуму горячего спора в „приватном кабинете“, различал глухое и монотонное ворчание хозяина и громкие восклицания Лингарда. Было похоже, что два волкодава дерутся над лакомою костью. Но Олмэйру спор этот казался ссорой титанов, битвой богов.

Через год или около того Лингард, часто сталкивавшийся по делам с Олмэйром, вдруг проявил внезапное и совершенно необъяснимое для посторонних пристрастие к молодому человеку. Он расхваливал его по вечерам за стаканом вина своим собутыльникам в Сунда-Отеле, а в одно прекрасное утро как громом поразил Винка, объявив, что ему нужен „этот малый—в роде как бы в старшие конторщики; пусть исполняет за меня всё бумагомаранье!“ Гедиг согласился. По свойственной молодежи страсти к переменам, Олмэйр ничего не имел против и, уложив свои скромные пожитки, отправился на „Молнии“ в одно из продолжительных плаваний, во время которых старый моряк объезжал чуть ли не каждый островок архипелага. Проходили месяцы, а благоволение Лингарда к Олмэйру все возрастало. Нередко, прогуливаясь с Олмэйром по палубе, когда легкий ночной ветерок, пропитанный душистыми испарениями островов, тихонько гнал бриг вперед под мирно сверкающим

небом, старый моряк открывал душу своему восхищенному слушателю. Он говорил о прожитой жизни, об избегнутых опасностях, о громадной прибыльности своего ремесла, о новых комбинациях, которые должны были доставить ему в будущем еще более грандиозные барыши. Часто он упоминал и о своей дочери, девочке, найденной на разбойничьем судне, со странным оттенком отцовской нежности.

«Теперь она уж взрослая девица, должно быть», — говорил он. — «Скоро четыре года, как я ее не видел! Будь я проклят, Олмэйр, если мы на этот раз не забежим в Сурабайю». И после такого заявления он всегда спускался к себе в каюту, бормоча под нос: «Надо что-нибудь сделать, что-нибудь сделать». Не раз, к большому изумлению Олмэйра, он быстро подходил к нему, звучно откашливался, как будто собираясь что-то сказать, а потом вдруг отворачивался, молча опираясь на борт и принимался неподвижно созерцать блеск и сверканье фосфорисцирующего моря вокруг корабля. Вечером накануне прибытия в Сурабайю такая попытка конфиденциального разговора, наконец, завершилась успехом. Откашлявшись, Лингард заговорил — и заговорил о деле. Он предложил Олмэйру жениться на его приемной дочери. «И не вздумай брыкаться оттого, что ты белый!» — вдруг кричал он, не давая изумленному юноше вымолвить ни слова. «Без глупостей у меня! Никто не разглядит цвета кожи твоей жены под долларами. А долларов станет еще больше, прежде чем я помру, — помни это! Их миллионы будут, Каспар, миллионы! И все достанется ей — и тебе, если сделаешь как тебе говорят!»

Пораженный внезапным предложением, Олмэйр с минуту колебался и молчал. Он одарен был сильным и живым воображением, и в этот короткий промежуток времени ему представились большие груды ослепительно сверкающих червонцев и все возможности привольного существования: почет, беспечная легкость жизни, для которых он чувствовал себя созданным, собственные суда, собственные склады, собственные товары (старик Лингард ведь не вечен). В довершение же всего в дали грядущего сиял, словно волшебный дворец, большой дом в Амстердаме, этом земном раю его грёз, где он доживет остаток дней своих в несказанном блеске, высоко вознесенный над людьми силою лингардовского золота. Что же касается до оборотной стороны медали — пожизненного общения с малайской жинщиной, этим наследием пиратского корабля, — то только смутно проснулось в нем чувство стыда, что он, белый человек... Впрочем, четыре года монастырского воспитания... да наконец,

бог милостив, — она может быть догадается умереть. Он всегда был удачлив, а деньги — великая сила. Надо решаться! Почему бы и нет? У него было смутное намерение не приобщать жену к своей блестящей карьере, запереть ее где-нибудь, все равно где... В конце концов нетрудно отделаться от жены-малайки; для его европейского сознания она все-таки оставалась простой рабыней, наперекор всем монастырям и церковным обрядам...

Он поднял голову и взглянул на разгневанного, но робеющего в душе моряка.

— Я... разумеется... все, что прикажете, капитан Лингард.

— Зови меня отцом, как она, мой мальчик, — сказал, смягчаясь, старый авантюрист. — Но провалиться мне на месте, если я не думал, что ты собираешься отказаться. Только знай, Каспар, что я всегда на своем поставлю, твое упорство ни к чему не приведет. Впрочем, ты не дурак.

Олмэйр хорошо помнил эту минуту, взгляд, выражение лица, слова и всю окружающую обстановку. Он помнил узкую, слегка наклонную палубу брига, безмолвно дремлющий берег, черную поверхность моря и широкую золотую полосу, брошенную на нее восходящим месяцем. Он помнил все это и помнил также свое ощущение безумного ликования при мысли о доставшемся ему богатстве. Он не был дураком тогда, не был дураком и теперь. Просто обстоятельства сложились неудачно; богатство исчезло, но надежда все же оставалась.

Он вздрогнул под дыханием ночного ветра и внезапно заметил непроглядную тьму, окутавшую реку после захода солнца и стершую очертания противоположного берега. Только куча хвороста пылала перед частоколом, окружавшим усадьбу Раджи, и озаряла внезапными отблесками корявые стволы ближних деревьев, бросая горячий красный отсвет до половины реки, по которой плыли к морю бревна среди непроглядной тьмы. Олмэйр смутно вспомнил, что его недавно звала жена, вероятно, торопила обедать. Но человек, созерцающий крушение своего прошлого при свете новых надежд, не может чувствовать голод лишь на том основании, что его рис готов. Впрочем, и вправду, пора была идти домой. Становилось поздно.

Олмэйр осторожно зашагал по распатанным доскам к лестнице. Потревоженная шумом ящерица издала жалобный звук и опрометью бросилась в высокую прибрежную траву. Олмэйр стал осторожно спускаться по лестнице; теперь он вполне возвратился к действительной жизни, так как приходилось двигаться очень осторожно, чтобы не споткнуться

на неровной земле, где камни, полусгнившие доски и полу-распиленные бревна валялись в непроходимом беспорядке. В ту минуту, как он поворачивал к дому, в котором жил, — он называл его своим „старым домом“, — ухо его уловило плеск весел далеко во мраке реки. Он остановился посреди дорожки, весь насторожившись и удивляясь, что кто-нибудь мог ехать по реке в такой поздний час и при таком волнении. Теперь он уже ясно различал шум весел и даже прерывистый шопот и тяжелое дыхание людей, борющихся с течением и пытавшихся обогнуть тот самый берег, где он стоял. Лодка была совсем близко, но было темно, и под нависшими над водой кустами ничего нельзя было различить.

— Это должно быть арабы, — пробормотал Олмэйр, вглядываясь в густой мрак. — Что это они затеяли? Верно какая-нибудь проделка Абдуллы, будь он проклят!

Лодка была уже совсем близко от него.

— Эй, вы, там! Люди! — окликнул Олмэйр.

Голоса замолкли, но весла продолжали так же бешено работать. Вдруг перед Олмэйром закачался куст, и резкий звук брошенных в челнок весел раздался в ночной тишине. Кто-то зацепился за куст, но Олмэйр едва мог различить расплывчатые очертания человеческой головы и плеч над берегом.

— Абдулла, ты? — неуверенно спросил Олмэйр.

Голос важным тоном ответил:

— Тюан Олмэйр говорит с другом. Арабов здесь нет.

Сердце Олмэйра так и ёкнуло.

— Дэйи! Наконец-то! Наконец-то! — вскричал он. — Я ждал тебя и днем, и ночью. Я почти потерял надежду на твое возвращение.

— Ничто не могло бы мне помешать вернуться сюда, — горячо сказал тот. — Даже смерть! — прошептал он про себя.

— Вот истинно-дружеская речь и очень хорошая речь, — сердечно сказал Олмэйр. — Но мы здесь слишком далеко друг от друга. Причаливай к пристани, и пусть твои люди варят себе рис у меня на дворе, покуда мы будем беседовать в доме.

Ответа на это приглашение не последовало.

— В чем дело? — спросил Олмэйр тревожно. — Надеюсь, с бригам ничего не случилось?

— Бриг там, где ни один Оранг ¹⁾ Бланда до него не доберется, — отвечал Дэйи с мрачным выражением в голосе, которого Олмэйр в своем восторге не расслышал.

¹⁾ Белый человек.

— Вот и прекрасно,—сказал он.—Но где же твои люди? С тобой только двое.

— Слушай, Тюан Олмэйр,—сказал Дэйи. — Завтрашнее солнце увидит меня у тебя в доме, и тогда мы поговорим. Теперь же мне нужно к радже.

— К радже? Зачем? Чего тебе нужно от Лакамбы?

— Тюан, завтра мы побеседуем как подобает друзьям. Сегодня же мне нужно видеть Лакамбу.

— Но ведь ты не покинешь меня теперь, Дэйи, когда все готово?—произнес Олмэйр умоляющим голосом.

— Разве я не вернулся? Но я должен сначала увидеть Лакамбу. Это необходимо для нас обоих.

Призрачная голова вдруг исчезла. Отпущенный куст с размаху выпрямился, обдав Олмэйра целым дождем грязных капель в ту минуту, как Олмэйр нагнулся вперед, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь.

Через минуту челнок появился в полосе света, бросаемой на реку большим костром на том берегу. Олмэйр увидел фигуры двух мужчин, склоненных над веслами, и третью фигуру на корме, правящую рулевым веслом. Голова ее была увенчана огромной круглой шляпой, напоминавшей фантастических размеров гриб.

Олмэйр следил за челноком, покуда он не исчез опять из полосы света. Вскоре затем до Олмэйра донесся гул множества голосов. Он видел, как выхватывались из костра пылающие головни и на мгновение освещались частокол, вокруг которого, повидимому, столпились люди. Затем люди, очевидно, вышли за ограду. Факелы исчезли, и разобранный костер давал лишь слабый, колеблющийся свет.

Олмэйр большими шагами направился к дому. На душе у него было беспокойно. Неужели Дэйи задумал изменить ему? Вздор! Как Дэйи, так и Лакамба слишком заинтересованы в удаче его предприятия. Плохо, разумеется, что приходится доверяться малайцу; но ведь, с другой стороны, даже малайцы обладают некоторой долей здравого смысла и понимают свою выгоду. Все обойдется—все должно обойтись благополучно. В ту минуту, как Олмэйр дошел до этого заключения, он был уже у ступенек, ведущих на веранду его дома. С той низины, на которой он стоял, ему видны были оба рукава реки. Главное русло Пантэя терялось во мраке, так как костер в усадьбе раджи погас окончательно; но вверх по Самбирскому протоку взор Олмэйра мог проследить длинную линию малайских лачуг, сгрудившихся на берегу; там и сям сквозь бамбуковые стены мерцал огонек, или дымный факел горел на вдающейся в реку

площадке. Еще дальше, там, где остров заканчивался низким утесом, над малайскими постройками возвышалась темная громада зданий. На твердом грунте, на прочном фундаменте, широко раскинулись эти постройки, испещренные множеством ярких огней, навевавших невольную мысль о парафине и ламповых стеклах. Это был дом и склады Абдуллы бин Сзида, первого негоцианта Самбиры. Их вид был чрезвычайно неприятен Олмэйру, и он погрозил им кулаком. Ему казалось, что они с холодным презрением взирают на его нищету с высоты своего благополучия.

Он медленно поднялся по ступенькам дома.

Посреди веранды стоял круглый стол, а на нем горела парафиновая лампа без колпака, ярко озарявшая три внутренние стены. Четвертая сторона веранды была открыта и обращена к реке. С неотесанных стропил высокой и крутой крыши свисали рваные тростниковые циновки. Потолка не было, и резкий свет лампы расплывался вверх в мягкий полумрак, постепенно терявшийся среди стропил. Во внутренней стене посредине была дверь, которая вела в средний коридор; она была задрапирована красной занавесью. Коридор выходил на задний двор, к кухонному навесу; тут же, в коридоре, была дверь в женскую комнату. В одной из боковых стен веранды была другая дверь. На ней еще можно было разобрать полустертую надпись: "Контора Лингард и К^о", но самая дверь, повидимому, давным-давно не открывалась. У противоположной боковой стены стояло гнутое кресло-качалка, другие четыре кресла беспорядочно разбросались по веранде, словно стыдясь окружающего убожества. Груда простых циновок лежала в углу; наискось над нею висел гамак. В другом углу, свернувшись в бесформенный клубок, спал малаец, один из домашних рабов, "собственных людей" Олмэйра, как он их называл. Голова малайца была повязана красным лоскутом коленкора. Многочисленное собрание мотыльков в бешеном весельи носилось вокруг лампы под вдохновенную музыку целой тучи москитов. Под крышею из пальмовых листьев бегали и нежно перекликались ящерицы. Цепная обезьянка, привязанная к одному из столбов веранды и спрятавшаяся было на ночь под карниз крыши, взглянула на Олмэйра и оскалилась. Потом она принялась раскачиваться на одной из бамбуковых палок под крышей, и целый дождь пыли и сухих листьев посыпался вниз на убогий стол. Пол был неровный. Под ногами всюду валялись сухие стебли растений и земля. Дом был запущен и грязен. Большие красные пятна, испещрявшие под и стены, свидетельствовали о нередком и бесце-

ремонном жевании бетеля¹⁾. Легкий речной ветерок слегка колыхал рванные занавески, принося с противоположного берега слабый и тошнотворный запах, похожий на запах увядающих цветов.

Доски веранды громко заскрипели под тяжелыми шагами Олмэйра. Спавший в углу человек забеспокоился, бормоча невнятные слова. За занавешенной дверью послышался шорох, и нежный голос спросил по-малайски:

— Это ты, отец?

— Да, Найна. Я голоден. Неужели все спят в доме?

Олмэйр говорил весело и с довольным вздохом опустился в кресло, ближе всех стоявшее к столу. Найна Олмэйр вышла из завешенной двери в сопровождении старухи-малайки, поставившей на стол тарелку жареной рыбы с рисом, кувшин с водой и бутылку, наполовину наполненную водкой. Заботливо поставив перед хозяином надтреснутый стакан и положив оловянную ложку, служанка бесшумно удалилась. Найна остановилась у стола, одной рукой слегка опираясь на край, а другую бессильно свесив вдоль тела. Лицо ее, обращенное к темноте, сквозь которую ее мечтательные глаза как-будто прозревали какую-то упоительную картину, выражало нетерпеливое ожидание. Найна была выше, чем обычно бывают метиски. Правильный профиль отца сочетался у нее с более широким подбородком, унаследованным ею от сулуйских пиратов, ее предков по матери. Ее твердо очерченный рот с полураскрытыми губами, между которыми сверкали белые зубы, придавал легкий оттенок жестокости нетерпеливому выражению ее лица. Впрочем, ее темные и безукоризненно прекрасные глаза обладали всей нежной кротостью, свойственной малайским женщинам, хотя в глазах у Найны светилось больше ума. Они глядели серьезно, широко и прямо, словно видели что-то незримое другим. Найна стояла вся в белом, гибкая, стройная, грациозная, явно не сознавая своей прелести; ее низкий, но широкий лоб обрамлен был блестящей массой длинных черных волос, упавших ей на плечи тяжелыми косами; ее бледно-оливковая кожа казалась еще бледнее от контраста с их угольно-черным оттенком.

Олмэйр жадно набросился на рис, но, сделав несколько глотков, остановился с ложкой в руке, глядя на свою дочь с любопытством.

¹⁾ Бетель—особый род перца, растущего в Индии и на Малайском полуострове. Листья бетеля употребляются для жевания. Их жуют вместе с косточками бетелевой пальмы, которые носят название „бетельных орешков“.

— Ты слышала, как проплыла здесь лодка полчаса тому назад, Найна?—спросил он.

Девушка быстро взглянула на него и, отойдя от света, повернулась спиной к столу.

— Нет,—медленно протянула она.

— Здесь проплыла лодка. Наконец-то! Сам Дэйи; он отправился дальше, к Лакамбе. Я это знаю, потому что он сам сказал мне. Я говорил с ним, но он не захотел прийти сюда сегодня вечером. Сказал, что придет завтра.

Он проглотил еще ложку, потом произнес:

— Я почти счастлив сегодня, Найна. Я вижу теперь конец длинного пути, и он уводит нас из этого злосчастного болота. Мы скоро уедем отсюда, моя дорогая девчурка, и тогда...

Он встал из-за стола и стоял, неподвижно глядя перед собою, словно созерцая какое-то восхитительное видение.

— И тогда мы будем счастливы. Мы будем жить далеко отсюда, в богатстве и почете, и позабудем здешнюю жизнь со всей ее борьбой и нищетой.

Он подошел к дочери и ласково провел рукой по ее волосам.

— Плохо, что пришлось довериться малайцу,—сказал он;— но я должен признать, что этот Дэйи—джентльмен, настоящий джентльмен,—повторил он.

— Ты звал его зайти сюда, отец?—не глядя на него, спросила Найна.

— Ну, разумеется! Мы двинемся в путь послезавтра,—радостно проговорил Олмэйр.—Нам нельзя терять время. Рада ты, девчурка?

Она была почти одного с ним роста, но он любил вспоминать то время, когда она была малюткой и они были всё друг для друга.

— Я рада,—тихо сказала она.

— Разумеется,—с живостью подхватил Олмэйр,—ты и представить себе не можешь, что тебя ожидает. Я и сам не бывал в Европе, но так часто слышал о ней от моей матери, что мне кажется, что я все там знаю. Мы дивно проживем. Вот увидишь.

Он опять молча постоял около дочери, как бы вглядываясь в чарующие картины будущего. Немного погодя, он погрозил кулаком в сторону спящего селения.

— А, приятель Абдулла!—вскричал он.—Посмотрим, кто кого одолеет после всех этих лет!

Он взглянул вверх по реке и спокойно заметил:

— Опять гроза надвигается; ну, да никакой гром меня не разбудит—я уж это знаю. Спокойной ночи, малютка,—

шепнул он, нежно целуя ее в щеку.—Ты что-то не очень весела сегодня; но завтра у тебя будет личико повеселее, не так ли?

Найна слушала Олмэйра, не меняя выражения лица; ее полужакрытые глаза продолжали вглядываться в ночь, еще более потемневшую от грозовой тучи, которая сползала с холмов, заволакивая звезды, окутывая небо, лес и реку сплошной массой почти осязательной мглы. Легкий ветерок стих, но дальние раскаты грома и бледные вспышки молнии предупреждали о надвигающейся грозе. Девушка со вздохом повернулась к столу.

Олмэйр уже лежал в гамаке и почти погрузился в сон.

— Убери лампу, Найна,—пробормотал он сквозь сон.—Здесь все полно москитов. Ложись спать, дочка.

Но Найна, погасив лампу, снова вернулась к балюстраде веранды, обвила рукой один из ее деревянных столбов и жадно стала вглядываться в сторону Пантэйского рукава. И стоя неподвижно в гнетущей тишине тропической ночи, она при каждой вспышке молнии видела, как гнулся под бешеным натиском приближающейся бури лес, тянувшийся по обе стороны реки, и как черные тучи, изорванные в лохмотья с фантастическими очертаниями, низко ползли над качающимися деревьями. Вокруг нее еще царили мир и покой, но до нее издали уже доносился рев ветра, свист тяжелого дождя, плеск волн на взбаламученной реке. Все это надвигалось ближе и ближе вместе с раскатами грома и длинными, яркими молниями, за которыми следовали краткие промежутки страшной темноты. Когда буря достигла низкой косы, разделявшей реку, весь дом вздрогнул под напором ветра, и дождь шумно забарабанил по крыше из пальмовых листьев; гром заговорил одним сплошным длительным рокотом, а непрерывные молнии осветили целый хаос прыгающих волн, несущихся бревен и высоких деревьев, склоняющихся перед натиском грубой и безжалостной стихии.

Ночной дождь, принесенный муссоном, не потревожил ее отца. Олмэйр спал крепким, спокойным сном, забывая свои надежды и свои неудачи, и друзей, и врагов; а девушка стояла неподвижно, при каждой новой вспышке молнии жадно всматриваясь в широкую реку упорным и горячим взглядом.

ГЛАВА II

Когда, в ответ на неожиданное предложение Лингарда, Олмэйр согласился жениться на молодой малайке, он не знал одного обстоятельства, которое в ту пору было неизвестно никому. Он не знал, что в тот день, когда интересная молодая новообращенная лишилась своих настоящих родных и обрела белого отца, она, как и все остальные малайцы, отчаянно сражалась на палубе родного корабля, и если не бросилась в море вместе с другими пережившими схватку, то лишь потому, что была тяжело ранена в ногу. Она лежала на носу корабля среди груды убитых и умирающих пиратов; здесь она была найдена стариком Лингардом, приказавшим перенести ее на корму „Молнии“ прежде, чем поджечь пиратское судно и пустить его вниз по течению. Она не потеряла сознания и в глубокой тишине тропического вечера, сменившей боевую тревогу, следила за тем, как всё, что она по-своему любила на свете, уплывало во мрак среди клубов огня и дыма. Она лежала, не замечая заботливых рук, перевязывавших ее рану, погруженная в созерцание погребального костра, на котором сгорали те храбрые люди, которыми она так восхищалась и которым так доблестно помогала в их схватке с грозным раджей-Лаутом.

Легкий ночной ветерок потихоньку гнал бриг к югу, и громадное зарево пожара все уменьшалось и уменьшалось. Наконец оно блеснуло на горизонте заходящей звездочкой, потом и она закатилась. Тяжелый полог дыма несколько времени еще отражал отблеск невидимого пламени; затем исчез и он.

Девушка поняла, что прежняя жизнь ее кончилась в ту минуту, как погасло это отдаленное пламя. Ей предстояла отныне неволя в чужом краю, среди незнакомых людей, в неведомых, может быть ужасных условиях. Ей было четырнадцать лет; она ясно сознавала свое положение, а потому быстро пришла к выводу, единственно-возможному для малайской девушки, рано созревшей под лучами тропического солнца; кроме того она знала цену своей красоте, — не даром многие юноши-воины из отряда ее отца так восхищались ею. Ее страшила только неизвестность; помимо этого, она, со

свойственной ее народу покорностью, примирилась со своею участью, даже сочла ее чем-то вполне естественным; ведь она была дочерью воина, взята была с бою и по праву принадлежала радже-победителю. Она думала даже, что явное благоволение грозного старика объясняется тем, что он восхищен своею пленницей, и польщенное тщеславие облегчило ей первые порывы горя от постигшей ее страшной беды. Если бы она знала, что ее ожидают тихие сады и молчаливые инокини Самарангского монастыря, она, может быть, попыталась бы убить себя, таким ненавистным и страшным показалось бы ей подобное затворничество. Но воображение рисовало ей обычную участь малайской девушки, обычную череду тяжелой работы и дикой любви, золотых украшений, интриг, домашней страды и того великого, хотя и тайного влияния, которое составляет одно из немногих прав полудикой женщины. Однако в суровых руках старого мореплавателя, действовавшего под наитием безотчетных сердечных порывов, судьба ее приняла странный и ужасный для нее оборот. Она все вынесла спокойно и кротко—и затворничество, и ученье, и новую веру, скрывая свою ненависть и свое презрение к этой новой жизни. Она легко научилась чуждому ей языку, но ничего не поняла в новой вере, в которой представляли ее добрые монахини, быстро усвоив из нее только элементы религиозного суеверия. Во время кратких и шумных визитов Лингарда она нежно ласкалась к нему, называя его отцом, потому что видела в нем грозную силу, которую необходимо задобрить. Ведь он был теперь ее господином! И в течение всех этих долгих четырех лет она лелеяла мечту стать угодной пред очами его, чтобы сделаться впоследствии его женой, советчицей и руководительницей.

Эти мечты о будущем были разрушены повелительным „fiat“¹⁾ раджи Лаута, сулившим Олмэйру счастье, как это казалось молодому человеку. И одетая в ненавистное ей европейское платье, юная новообращенная пошла под венец с незнакомым, угрюмым на вид, белолыцым мужчиной, привлекая к себе любопытство всего батавского общества. Олмэйру было неловко, слегка неприятно и очень хотелось сбежать. Благоразумный страх перед тестем и забота о своем благополучии удержали его от скандала; но, принося перед алтарем клятву в верности, он уже раздумывал о том, как бы отделаться от красавицы-малайки в более или менее близком будущем. Она же, со своей стороны, изо всего монастырского обучения запомнила только то—что по закону белых людей она ста-

¹⁾ „Fiat“—латинское слово: „да будет“—означает пожелание и приказ.

нови́лась подругой, а не рабой Олмэйра, и намеревалась вести себя соответственно.

Потому-то на „Молнии“, когда она покидала Батавский рейд, увозя с собою молодую чету и груз строевого леса для сооружения нового дома на незнакомом Борнео, вовсе не царило любви и счастья, как хвастливо уверял старик Лингард своих случайных друзей на верандах различных гостиниц. Зато сам старый моряк был счастлив совершенно. Он исполнил свой долг перед девушкой. „Бы ведь знаете, что она сирота—по моей вине“,—торжественно говорил он в заключение, когда по своему обычаю рассказывал о своих личных делах сборищу береговых шелопаев. Одобрительные возгласы его полу-пьяных собутыльников преисполняли его бесхитростную душу гордостью и наслаждением. „За что я раз взялся, то я и сделаю“,—говаривал он, и, следуя этому принципу, лихорадочно торопил с постройкой дома и складов на берегу Пантэя. Дом предназначался для молодой четы, склады—для той обширной торговли, которую должен был вести Олмэйр в то время, как он, Лингард, беспрепятственно отдастся какому-то таинственному делу, о котором он говорил лишь намеками и которое, повидимому, имело отношение к добыванию золота и алмазов где-то в центральной части острова. Олмэйр также сгорал от нетерпенья. Если бы он знал, что ему предстояло в будущем, то едва ли бы он с такой надеждой провожал глазами последний челнок Лингардовской экспедиции, исчезавший за поворотом реки. Обернувшись, он увидел хорошенкий домик, огромные склады, аккуратно выстроенные плотниками-китайцами, новую пристань, вокруг которой сновали челноки туземцев-покупателей, и ощутил внезапную гордость при мысли, что отныне мир принадлежит ему.

Но оказалось, что мир еще нужно было завоевать и что это завоевание вовсе не так легко, как ему представилось. Ему очень скоро дали понять, что он совершенно лишний там, куда его привел и старик Лингард и его собственное слабоволие; он запутался в сети беззастенчивых интриг и безжалостной торговой конкуренции. Все дело было в том, что река была открыта арабами, которые и устроили торговый пункт в Самбире; а где торговали арабы, там они были хозяевами и не терпели соперников.

Лингард потерпел неудачу в своей первой экспедиции и вскоре снова уехал. Все доходы со своей узаконенной торговли он тратил на эти таинственные поездки. Олмэйр боролся один, без друзей, без поддержки, если не считать покровительства, которое старый раджа, предшественник

Лакамбы, оказывал ему из уважения к Лингарду. Сам Лакамба, тогда еще просто частный человек, живший на собственной рисовой плантации в семи милях вниз по реке, всячески поддерживал своим влиянием врагов белого человека, интригуя против старого раджи и Олмэйра с такою точностью расчетов, которая явно указывала, что ему прекрасно известны все их деловые секреты. При всем том он внешне держался вполне дружелюбно, и его дородная фигура часто появлялась у Олмэйра на веранде. Его зеленый тюрбан и шитая золотом куртка неизменно красовались в первых рядах живописной толпы малайцев, являвшихся приветствовать возвращение Лингарда из его поездок в глубь острова. Он всех ниже кланялся, всех сердечнее пожимал руку при встречах старого промышленника. Но маленькие глазки его зорко ловили малейшие признаки, и он уходил с этих свиданий с довольной, но скрытой улыбкой, и затем долго совещался со своим другом и союзником—Сеид-Абдуллой, главой арабского торгового пункта, человеком весьма богатым и влиятельным.

В поселке в ту пору все были уверены, что Лакамба не ограничивался одними официальными посещениями дома Олмэйра. В лунные ночи запоздалые самбирские рыбаки часто наблюдали, как из узкого ручейка, протекавшего за домом белого человека, вылетал маленький челнок, а бывший в челноке человек осторожно греб вниз по течению, держась у самого берега в густой тени кустов. Разумеется, молва об этих событиях немедленно разносилась среди деревенских жителей, которые потом судили и редили о них вокруг вечерних костров со всем цинизмом, свойственным аристократам-малайцам, и с чувством коварной радости по поводу семейных несчастий Оранг-Бланды—ненавистного голландца. Олмэйр продолжал отчаянно бороться, но без достаточной твердости, что заранее обрекало его на неудачу в споре с такими беспринципными и решительными соперниками, как арабы. Торговля отхлынула от обширных складов и амбаров, и сами они постепенно стали разрушаться. Банкир старика Лингарда—Гедиг из Макассара—разорился, и в этом банкротстве погиб весь наличный капитал Олмэйра. Доходы прошлых лет были поглощены теми экспедициями для исследования девственных дебрей, которые с таким безумием снаряжал Лингард. Сам он находился где-то внутри страны,—может быть, его и в живых уже не было; во всяком случае, он не подавал никаких признаков жизни. Олмэйр был совершенно одинок среди всех этих неудач; единственным его утешением было общество его маленькой дочки, родившейся года через два после свадьбы. Ей было в то время что-то

около шести лет. Его жена давно уже начала высказывать ему беспощадное презрение, выражавшееся в угрюмом молчании, которое сменялось порою потоком неудержимой брани. Он знал, что она ненавидит его, читал эту ненависть в том ревнивом взгляде, которым она следила за ним и за ребенком. Она ревновала к нему дочь за явное предпочтение, оказываемое малюткой отцу, и он чувствовал, что эта женщина ему опасна. В своей безрассудной ненависти ко всем признакам цивилизации, она жгла мебель и срывала со стен нарядные занавеси. Запуганный этими взрывами дикости, Олмэйр молча обдумывал способ отделаться от нее. Он перебрал в уме все, что только было возможно, вплоть до убийства, но настолько вяло и нерешительно, что так и не посмел ничего предпринять, постоянно ожидая возвращения Лингарда с известием о какой-нибудь необыкновенной удаче. Лингард, наконец, вернулся, но вернулся постаревший, больной, похожий на призрак, с огнем лихорадки в глубоко впавших глазах; он чуть ли не один уцелел из всей многочисленной экспедиции. Но зато он добился, наконец, успеха! Несчетные сокровища давались ему в руки; нужно было только собрать еще немного денег, — и тогда он осуществит мечту о сказочном богатстве. И нужно же было Гедигу обанкротиться! Олмэйр собрал все, что только мог, но старик требовал еще. Видя, что Олмэйр больше ничего дать не может, он решил съездить в Сингапур — даже в Европу, если будет нужно, — но прежде всего в Сингапур, и взять с собою крошку Найну. Ребенок должен получить хорошее воспитание. У него, Лингарда, есть друзья в Сингапуре, которые позаботятся о ребенке и о том, чтобы дать ему приличное образование. Все сложится прекрасно, и эта девочка, на которую старый моряк видимо перенес свою прежнюю любовь к ее матери, будет самой богатой женщиной на Востоке — даже на свете. Так кричал старик Лингард, расхаживая по веранде своей тяжелой морской походкой, размахивая тлеющей сигарой, неряшливый, растрепанный, полный энтузиазма; а Олмэйр сидел, сгорбившись, на куче цыновок и с ужасом думал о предстоявшей ему разлуке с единственным живым существом, которое он любил; но, кажется, его еще больше пугала предстоящая сцена с женой — разъяренной тигрицей, у которой отнимают детеныша. „Она отравит меня“, — думал несчастный, хорошо знакомый с этим простым и радикальным методом разрешения социальных, политических и семейных проблем малайской жизни.

К великому его изумлению, его жена приняла это известие совершенно спокойно, не сказала ни слова, только

взглянула украдкой на него и на Лингарда. Но это не помешало ей на следующий день броситься вплавь за лодкой, на которой Лингард увозил няньку с плачущим ребенком. Олмэйру пришлось догонять ее на вельботе и вытаскивать из воды за волосы, при чем она кричала и проклинала его так, что жутко становилось. Впрочем, поголосив два дня, она вернулась к своему прежнему образу жизни и целыми днями жевала бетель, сидя среди своих прислужниц в тупом бездельи. После этого она быстро начала стариться и выходила из своей апатии лишь для того, чтобы едким словом или презрительным восклицанием отметить случайное присутствие своего супруга. Он выстроил ей отдельную хижину на берегу реки, где она жила в полном одиночестве. Посещения Лакамбы прекратились после того, как старый повелитель Самбира весьма кстати переселился в лучший мир, по воле господ бога и с помощью маленькой научной машины. Преемником сделался Лакамба, которого друзья его арабы горячо поддерживали перед голландскими властями. Сеид-Абдулла стал главным дельцом на Пантэйской реке.

Разоренный и беспомощный Олмэйр задыхался в невылазных сетях их интриг. Его жизнь шадил только потому, что думали, будто ему известна драгоценная тайна Лингарда. Сам Лингард окончательно исчез. Он прислал из Сингапура письмо с известием, что ребенок здоров, что он поручил его попечениям некоей миссис Винк, а что сам он отправляется в Европу собирать средства на свое великое предприятие. „Я не предвижу затруднений,—писал он.—От денег отбою не будет“. Но этого, повидимому, не произошло, потому что от старика пришло еще одно письмо—только одно,—в котором говорилось, что он болен, что никого из близких он не застал в живых,—и только. С тех пор он замолк окончательно. Очевидно, Европа поглотила раджу Лаута, и Олмэйр тщетно обращал взоры на запад в надежде, что из мрака разбитых упований блеснет для него луч света. Но проходили годы, и единственное, чего он мог ожидать, это—редкие письма от миссис Винк, а впоследствии и от самой девочки; только они и скрашивали ему жизнь среди торжествующей дикости речного поселка. Олмэйр жил совершенно одиноким. Он даже перестал посещать своих должников, которые, чувствуя над собою покровительство Лакамбы, упорно отказывались платить. Преданный суматриец Али варил ему рис и кофе, потому что он не доверял никому, меньше всех своей собственной жене. Уныло бродил он по заглушим дорожкам вокруг дома, обходил разрушенные сараи и склады, где две позеленевшие бронзовые пушки да

несколько поломанных ящиков с манчестерскими товарами напоминали ему о добром старом времени, когда здесь кипела работа, склады ломились от товаров, он наблюдал оживленные сцены прибрежной жизни, держа за руку свою малютку-дочь. Теперь же поднимающиеся вверх по реке челноки скользили мимо маленькой заглохшей верфи „Лингард и К^о“, плыли дальше вверх по Пантэю и сновали у новой пристани, принадлежавшей Абдулле. Это происходило не по особой любви туземцев к Абдулле, а просто потому, что они не смели торговать с человеком, звезда которого закатилась. Они знали, что иначе им не будет пощады ни от самого араба, ни от раджи, что в трудную минуту ни тот, ни другой не поверит им в долг ни крупинки рису; а от Олмэйра помощи ждать было нечего, потому что ему и самому еле-еле хватало подчас. На Олмэйра находило отчаяние. Он был так одинок, что нередко завидовал своему ближайшему соседу, китайцу Джим-Энгу, который покоился на груди цыновок, с деревянной подушкой под головой, с трубкой опия в ослабевших руках. Однако сам он не искал утешения в опиуме, может быть потому, что это дорого стоит, а может быть и потому, что гордость белого человека спасала его от этого падения; но вероятнее всего его удерживала мысль о маленькой девочке в далеких поселениях у пролива. Он стал получать о ней известия чаще с тех пор, как Абдулла купил пароход, совершавший рейсы между Сингапуром и Пантэйским поселком приблизительно раз в три месяца. Олмэйру казалось, что он теперь ближе к своей дочери. Он мечтал повидать ее, собирался съездить в Сингапур, но с году на год откладывал свою поездку, постоянно надеясь на какой-нибудь счастливый оборот дел. Ему не хотелось явиться к дочери с пустыми руками, без слов ободрения и надежды. Он не мог осудить ее на ту дикую жизнь, которую вел сам. Что бы она подумала о нем? Он прикидывал в уме ее года; она теперь уже взрослая женщина—и притом женщина образованная, молодая, полная надежд; он же чувствовал себя стариком, потерявшим всякую надежду, очень похожим на окружавших его дикарей. Он спрашивал себя: какова будет ее дальнейшая жизнь? Он еще не мог ответить на этот вопрос, а потому не решался явиться к ней, хотя и тосковал по ней безумно. И таким образом он колебался много лет под ряд.

Неожиданное появление Найны в Самбире положило конец этим колебаниям. Она приехала на пароходе, под охраною капитана. Олмэйр увидел ее с удивлением, к которому примешивался восторг. За эти десять лет ребенок успел пре-

вратиться в женщину, черноволосую, с оливковой кожей, высокую и красивую, с большими печальными глазами, в которых испуганное выражение, свойственное малайкам, было смягчено оттенком вдумчивости, унаследованным ею от предков-европейцев. Олмэйр с ужасом думал о встрече между своею женою и дочерью, о том, как эта серьезная девушка в европейском платье отнесется к своей матери—неряшливой, полу-нагой и угрюмой, жующей бетель, сидя на корточках в темной лачуге. Кроме того, он опасался какой-нибудь выходки со стороны этой бешеной женщины; до сих пор ему кое-как удавалось обуздывать ее, спасая тем самым остатки своей разрозненной обстановки. Стоя на самом солнцепеке перед запертою дверью хижины, он прислушивался к звукам беседы, недоуменно спрашивая себя, что происходит в хижине, откуда с первых же минут свиданья были изгнаны все прислужницы. Они теперь столпились у частокола и, полу-закрыв лица покрывалами, болтали между собою, строя догадки и споря от любопытства. Он совершенно забылся, пытаясь уловить отдельные слова сквозь бамбуковые стены, так что капитан парохода, проводивший девушку до дома, из боязни, чтобы его не хватил солнечный удар, взял его под руку и увел в тень веранды, где уже стоял сундук Найны, доставленный сюда матросами парохода. Как только капитан Форд уселся перед полным стаканом и закурил сигару, Олмэйр попросил объяснить ему неожиданный приезд его дочери. Форд почти ничего не сказал путного; он только прошелся в туманных, но сильных выражениях насчет глупости женщин вообще и миссис Винк в частности.

— Знаешь, Каспар,—сказал он в заключение взволнованному Олмэйру,—чертовски трудно иметь в доме девушку-метиску. Мало ли дураков на свете! Повздорился там какой-то юнец из банка и начал таскаться во всякое время к Винкам в бенгалу; а старуха-то и вообразила, что это он ради ее Эммы старается. Ну, и буря же поднялась, скажу я тебе, когда она наконец дозналась, чего ему в сущности нужно! Она и часу больше не захотела держать Найну в доме. Я услышал об этой истории и отвел девочку к своей жене. Моя жена баба не плохая,—для бабы, разумеется,—и ей-богу мы бы оставили девочку у себя, но только она сама не захотела. Да тише ты! Не кипятись, Каспар! Сиди смирно. Что ты тут поделаешь? Да оно и лучше так,—пусть девочка остается у вас. Ей там никогда не было хорошо. Винковские девчонки просто нарядные мартышки, и ничего больше. Они чванились перед нею. Ты не можешь сделать ее белой; ведь не можешь? Так нечего тебе и

ругаться. Это не мешает ей быть славной девочкой; но она не захотела ничего рассказать моей жене. Если хочешь знать,—расспроси ее сам; но я на твоём месте оставил бы ее в покое. Что же касается платы за ее проезд, то ты об этом не беспокойся, старина, если у тебя сейчас в деньгах недочуват.—И, бросив сигару, моряк отправился на свое судно „задать им там встряску“, как он выражался.

Олмэйр тщетно ожидал, чтобы дочь объяснила ему причину своего возвращения. Но она ни словом не обмолвилась о своей сингапурской жизни. Он же боялся спрашивать, робая перед спокойной бесстрастностью ее лица, перед торжественным взором этих глаз, глядевших мимо него на большие, безмолвные леса, дремлющие в величавом спокойствии под усыпляющий лепет широкой реки. В конце концов он примирился с положением, осчастливленный нежной и покровительственной привязанностью, которую выказывала ему девушка. Правда, она проявляла свое чувство чрезвычайно неровно. У нее были свои *дурные дни*, как она их называла; тогда она обыкновенно навещала мать в прибрежной хижине; она выходила оттуда такую же непроницаемую, как всегда, но только у нее тогда в ответ на всякое его слово были готовы либо пренебрежительный взгляд, либо краткая отповедь. Он привык даже к этому и в такие дни вел себя тише воды, ниже травы, хотя его очень тревожило влияние его жены на девушку. Во всем остальном Найна поразительно приспособилась к условиям полудикой и убогой жизни. Она беспрекословно и без видимого отвращения мирилась с запущенностью, разрушением и бедностью домашнего обихода, отсутствием обстановки и однообразием стола, состоявшего преимущественно из риса. Она жила вместе с Олмэйром в маленьком, обветшалом домике, первоначально построенном Лингардом для молодой четы. Приезд ее породил множество толков среди малайцев. Толпы женщин и детей приходили по утрам к молодой Мем-Путай—просить наговора от всяческих телесных немощей; с наступлением вечера важные арабы в длинных белых балахонах и желтых безрукавках медленно проходили по пыльной тропинке вдоль берега, направляясь к калитке Олмэйра; они торжественно посещали этого „неверного“ под предлогом каких-то дел,—на самом же деле лишь для того, чтобы, с соблюдением всех правил приличия, одним глазком взглянуть на девушку. Даже сам Лакамба вышел из-за своих палисад, сопровождаемый торжественной свитой военных челноков и красных зонтиков, и причалил к ветхой пристаньке Лингарда и К°. Он объявил, что приехал купить пару медных

пушек в подарок своему приятелю — вождю самбирских дайаков; и покуда Олмэйр, не веря ему, но соблюдая величайшую вежливость, хлопотал о том, чтобы откопать в складах старые орудия, раджа сидел на веранде, окруженный подобострастной свитой, в напрасном ожидании появления Найны. У нее был один из ее *дурных дней*, и она укрылась в хижину к матери, откуда они вдвоем наблюдали за всеми церемониями на веранде. Разочарованный, но все же учтивый раджа отбыл наконец, и Олмэйр вскоре начал пожинать плоды улучшившихся отношений с местным властью. Некоторые из наиболее без надежных должников вдруг вернули ему деньги со множеством низких селямов и тысячью извинений. Это слегка ободрило Олмэйра. Может быть, еще не все потеряно, — думал он. Арабы и малайцы наконец признали за ним кое-какие таланты. И он, по своему обыкновению, принялся строить обширные планы, мечтать о каких-то необыкновенных сокровищах, которые достанутся ему и Найне. Под влиянием этих оживших надежд он попросил капитана Форда написать в Англию и навести справки относительно Лингарда. Жив ли он, или умер? А если умер, то не оставил ли каких-нибудь бумаг, документов, каких-нибудь намеков или указаний, относящихся к его великому предприятию. Сам Олмэйр тем временем в одной из пустых комнат среди груды всякого хлама нашел записную книжку старого искателя приключений. Он принялся изучать корявый почерк, которым были покрыты ее страницы, и часто задумывался над ними. Были и другие причины, выведшие его из его обычной апатии. Волнение, вызванное на острове учреждением британской „Борнейской Компании“, отразилось даже на ленивой пантэйской жизни. Предстояли крупные перемены, шла речь об аннексии; арабы вдруг стали вежливы. Олмэйр начал строить новый дом в расчете на будущих инженеров, агентов или поселенцев будущей Компании. Полный самых радужных надежд, он истратил на эту постройку свои последние наличные гульдены. Одно только омрачило его счастье, — жена его вышла из своего уединения, внеся свою зеленую куртку, свои узкие саронги ¹⁾, свой пронзительный голос и свою внешность ведьмы в его тихую жинь в маленьком бенгалу. Дочь его, повидимому, с полнейшим равнодушием отнеслась к этому дикому вторжению в их повседневный обиход. Это ему не понравилось, но он не решился ничего сказать.

¹⁾ Саронг — полотнище, обматываемое вокруг нижней части туловища и заменяющее жителям Индейского архипелага юбку.

ГЛАВА III

Велико значение переговоров, которые ведутся в Лондоне: их влияние простирается на тысячи миль. Неудивительно, что резолюция, принятая в окутанных туманом конторах „Борнейской Компании“, помрачила для Олмэйра яркое сияние тропического солнца и подлила лишнюю каплю горечи в чашу его разочарований. В Лондоне отказались от притязаний на эту часть Восточного Побережья, и река Пантэй номинально осталась попрежнему под владычеством Голландии. Радостное возбуждение царило в Самбире. Невольников спешно убирали с глаз долой в леса и джунгли, на участке раджи подняли флаги на высоких столбах: ожидалось прибытие шлюпок с голландского военного судна.

Фрегат встал на якорь, не доходя до устья реки; шлюпки же поднялись вверх по течению на буксире парового катера, осторожно пробиравшегося среди множества туземных челноков, наполненных ярко разодетыми малайцами. Командующий флотилией офицер с важностью выслушал верноподданнические приветствия Лакамбы, обменялся селянами с Абдуллой и на изысканном малайском языке уверил этих господ в благоволении и дружелюбном расположении великого батавского раджи ¹⁾ к правителю и населению образцового Самбирского штата.

Олмэйр со своей веранды наблюдал за всеми церемониями, происходившими на том берегу, слышал пушечную пальбу, приветствовавшую новый флаг, дарованный Лакамбе, и глухой говор зрителей, толпившихся вокруг частокола. Дым от выстрелов белыми клубами выделялся на зеленом фоне лесов. Олмэйр невольно сравнил свои собственные мимолетные надежды с этим быстро рассеявшимся дымком. Он не ощущал никакого прилива патриотических чувств при виде всего происходившего, но тем не менее ему пришлось принудить себя к учтивости, когда по окончании официального празднества морские офицеры, составлявшие комиссию,

¹⁾ Батавия—город на острове Яве, столица восточных владений Голландии. „Батавский раджа“—генерал-губернатор.

переправились через реку, чтобы посетить одинокого белого человека, о котором они много слышали; вероятно, ими руководило также желание взглянуть на его дочку. В этом отношении их постигло разочарование, так как Найна отказалась выйти к гостям; но они, повидимому, легко утешились за стаканами джина и сигарами, предложенными им гостеприимным Олмэйром. Удобно развалившись на хромых креслах в тени веранды, в то время как широкая река чуть не кипела от зноя под палящими лучами солнца, они огласили маленькое бенгалу непровычными звуками европейской речи, шумом, смехом и остротами над толстым Лакамбой, с которым они так усиленно любезничали в это самое утро. Под влиянием товарищеского добродушия молодежи Олмэйр разговорился; возбужденный видом европейских лиц, звуками европейской речи, он открыл сердце отзывчивым незнакомым людям, совершенно не замечая, как забавляла этих будущих адмиралов плачевная повесть об его многочисленных неудачах. Они пили за его здоровье, сулили ему груды алмазов и горы золота, даже уверяли его, что завидуют высокой участи, предстоящей ему. Ободренный такою лаской, седой и простоватый мечтатель пригласил своих гостей осмотреть его новый дом. Они отправились туда вразброд по высокой траве, в то время как команда готовила лодки к обратной поездке по вечерней прохладе. Среди больших пустых комнат, где теплый ветерок, врывавшийся в зияющие окна, тихонько кружил сухие листья и пыль, не подметавшуюся много дней, Олмэйр в белой куртке и цветистом саронге, окруженный сверкающими мундирами, топал ногой, чтобы показать прочность хорошо пригнанных полов, и распространялся насчет красоты и удобств дома. Они слушали и соглашались, пораженные необыкновенной простотой и нелепыми надеждами этого человека, как вдруг Олмэйр, в своем возбуждении, признался, что огорчен неприбытием англичан, „умеющих“, по его словам, „развивать страну и умножать ее природные богатства“. Это откровенное замечание было встречено дружным хохотом голландских офицеров, и все гурьбою двинулись к шлюпкам; но когда, осторожно пробираясь по расшатанным доскам Лингардовской пристани, Олмэйр попытался робко намекнуть главе комиссии на то, что местные голландцы нуждаются в защите против пронырливых арабов, то этот океанский дипломат со значительной миной отвечал ему, что арабы более лояльны, чем голландцы, которые нарушают закон, продавая малайцам порох. Ни в чем неповинный Олмэйр сразу же догадался, что причиной этих

слов были вкрадчивые речи Абдуллы и торжественная убедительность Лакамбы; но прежде чем он успел выразить негодующий протест, паровой катер быстро двинулся вниз по течению, увозя за собой вереницу шлюпок, а он остался на пристани с разинутым ртом, полный изумления и гнева. От Самбира ровно тридцать миль до островков той бухты, где стоял фрегат в ожидании возвращения шлюпок. Лодки не дошли еще до середины пути, как взошла луна. Черный лес, мирно дремавший под ее холодными лучами, не раз просыпался в эту ночь от взрывов хохота, вызванных маленькой флотилией каким-то напоминанием о плачевном рассказе Олмэйра. Морские остроты по адресу горемыки-неудачника перелетали с лодки на лодку; отсутствие его дочери вызвало строгое порицание, а недостроенный дом, воздвигнутый в ожидании неприбывших англичан, по общему приговору легкомысленных моряков окрещен был в ту веселую ночь „Капризом Олмэйра“.

После этого посещения жизнь в Самбуре надолго вернулась к своему ровному течению, не отмечаемому никакими событиями. Восходящее солнце, посылавшее свои лучи из-за лесных вершин, ежедневно освещало все ту же картину привычной деятельности. Прогуливаясь по тропинке, составлявшей единственную улицу поселка, Найна наблюдала, как мужчины валялись в тени домов на высоких плащадках, как женщины усердно толкли рис для дневного пропитания, а голые коричневые дети бегали взапуски по узким тропинкам, ведущим к полям. Джим-Энг, слоняясь у своего дома, приветствовал Найну дружеским кивком головы, а потом отправлялся в комнаты к своей излюбленной трубке опия. Старшие дети осмелели после долгого знакомства и, окружив девушку, теребили темными пальцами ее белоснежное платье; они улыбались ей, обнажая блестящие зубы, в ожидании дождя стеклянных бус. Она улыбалась им спокойной улыбкой; но для кого у нее всегда было готово ласковое словечко, это—для одной девушки-сиамки, невольницы, принадлежавшей некоему Буланджи, у которого было множество жен, по слухам весьма сварливых. Вполне достоверная молва говорила, что домашние столкновения в семье этого трудолюбивого землепашца всегда оканчивались тем, что все жены сообща нападали на рабыню-сиамку. Сама девушка никогда не жаловалась, может быть из осторожности, но вернее всего из странной апатической покорности, свойственной полудиким женщинам. С раннего утра ее можно было встретить на тропинках между домами, на берегу реки или на пристанях; на голове у нее был поднос с

печеньем, которое ей было поручено продавать, при чем она с удивительной ловкостью носила его на голове. От полученного зноя она обыкновенно укрывалась где-нибудь на усадьбе Олмэйра, часто находя приют в тенистом уголке веранды. Найна иногда звала ее к себе. Сиамка садилась на корточки, поставив перед собою свой поднос. Она всегда готова была улыбнуться Мем-Путай, но появление миссис Олмэйр, даже один только звук ее визгливого голоса—служил для нее сигналом к поспешному бегству.

С этой девушкой Найна нередко беседовала; зато остальные обитатели Самбира почти ни разу не слышали звука ее голоса. Они привыкли к молчаливой фигуре, одетой во все белое, спокойно двигавшейся среди них, привыкли к этому непонятному для них существу из иного мира. Однако, несмотря на всю внешнюю уравновешенность Найны, несмотря на очевидную ее отдаленность от окружающих ее предметов и людей, ее жизнь протекала далеко не спокойно; миссис Олмэйр была так энергична и деятельна, что ее семья не могла наслаждаться ни счастьем, ни даже простой безопасностью. Она возобновила до известной степени сношения с Лакамбой, правда, не непосредственно, так как достоинство этого монарха не позволяло ему показываться вне пределов своей ограды; но посредником между ними служил первый министр правителя, начальник его порта, советник его в финансовых вопросах и вообще главный его фактотум. Этот джентльмен—он был родом из Сулу—неосомненно обладал качествами государственного мужа, хотя и был лишен личной привлекательности. По правде говоря, он просто-напросто был отвратителен — рябой и кривой на один глаз; к тому же нос его и губы были страшно изуродованы черной оспой. Этот непривлекательный человек часто появлялся в саду у Олмэйра в домашнем костюме, состоявшем из куска розового коленкора, опоясывавшего его чресла. На задворках дома, сидя на корточках на разбросанной повсюду золе, в близком соседстве с чугунным котлом, в котором служанки варили обеденный рис для всего дома под наблюдением миссис Олмэйр, хитрый посредник вел длинные беседы с нею на языке Сулу. О предмете этих бесед можно было догадываться по семейным сценам, разыгрывавшимся потом у домашнего очага Олмэйра.

За последнее время Олмэйр пристрастился к поездкам вверх по реке. Он уезжал на несколько дней сряду, в небольшом челноке с двумя гребцами и с верным Али в качестве рулевого. Абдулла и Лакамба, разумеется, зорко следили за каждым его шагом, ибо нет никакого сомнения, что

человек, бывший некогда доверенным раджи Лаута, должен был знать множество весьма ценных секретов. Береговое население Борнео свято верит, что в глубине страны есть алмазы баснословной ценности и бесконечно богатые золотые прииски. Все эти сказки приобретают тем больший вес оттого, что доступ внутрь острова чрезвычайно труден, особенно с северо-востока, где малайцы постоянно враждуют с речными племенами дайаков или „охотников за черепами“. Но, с другой стороны, действительно некоторое количество золота достигает побережья через посредство этих дайаков, когда, во время редких перемирий, им случается посещать приморские малайские поселки. На шатком основании подобных фактов и создаются самые фантастические легенды.

В качестве белого человека Олмэйр—как до него Лингард—находился в несколько лучших отношениях с племенами верхнего течения реки. Но даже и его поездки были далеко небезопасны, и нетерпеливый Лакамба всегда с напряженным интересом ожидал его возвращения. Однако раджу каждый раз постигало разочарование. Напрасно фактотум его Габалатян вел длинные беседы с женою белого человека. Сам белый человек оставался непроницаемым; на него не действовали ни убеждения, ни ласки, ни брань; до его души не доходили ни нежные слова, ни пронзительные оскорбления, ни отчаянные мольбы, ни ужасающие угрозы. Желая уговорить мужа войти в союз с Лакамбой, миссис Олмэйр пускала в ход всю гамму человеческих страстей.

В грязном платье, туго завязанном под мышками над ее чахлой грудью, с редкими седыми волосами, свисавшими в беспорядке вдоль ее выдающихся скул, она становилась в просительную позу и пронзительным голосом пространно расписывала все выгоды сближения с таким хорошим и справедливым человеком.

— Почему тебе не пойти к радже?—кричала она.—Зачем тебе возвращаться в леса дайаков? Дайаков следовало бы всех перебить; но ты не можешь этого сделать, а воины нашего раджи мужественны и храбры. Ты скажешь радже, где находится сокровище белолицего старика. Наш раджа добр! Он нам настоящий дедушка, наш Бату-Безар! Он перебьет этих негодных дайаков, и ты получишь половину сокровищ. О, Каспар, скажи, где находится клад! Скажи мне! Прочти мне об этом из бумаги старика, которую ты так часто читаешь по вечерам!

В таких случаях Олмэйр только горбил спину под натиском семейной бури, да отмечал паузы в потоке красноречия своей жены тем, что сердито ворчал: „Пошла прочь,

никакого клада нет". Выведенная наконец из себя видом его терпеливо-согбенной спины, она кончала тем, что обходила стол с противоположной стороны. Не помня себя от презрения и гнева и подобрав одною рукою платье, она протягивала вперед другую тощую руку с крючковатыми, как птичьи когти, пальцами и изливала быстрый поток презрительных замечаний и горьких проклятий по адресу человека, недостойного войти в союз с доблестными малайскими вождями. Дело обычно кончалось тем, что Олмэйр медленно вставал, держа в руках свою длинную трубку, и, с перекошенным от боли лицом, молча удалялся. Он спускался с лестницы и по густой траве уходил в уединение своего нового дома, еле волоча ноги, изнемогая от страха и отвращения перед этой фурией. А она преследовала его до верхней ступени лестницы, продолжая сыпать безудержной бранью вслед его удаляющейся фигуре. Сцена неизменно оканчивалась пронзительным возгласом, издавлет доносившимся до ушей Олмэйра: „Я—твоя жена, Каспар, помни это! Твоя настоящая христианская жена по твоему собственному закону бланда!“ Она знала, что это для него было горше всего на свете, что именно об этом он сокрушается всю свою жизнь.

Найна была бесстрастной свидетельницей всех подобных сцен.

Никакого мнения она не высказывала. Казалось, что она глуха, нема, совершенно бесчувственна. Но после того, как отец ее укрывался в пустых и пыльных комнатах своего „Каприза“, а мать, утомленная своими риторическими усилиями, устало садилась на корточки, прислонившись спиной к ножке стола, Найна приближалась к ней с любопытством, оберегая платье от сока бетеля, которым был заплеван весь пол, она глядела на нее так, как смотрят в затихающий кратер вулкана после разрушительного извержения.

После такого рода сцены миссис Олмэйр обыкновенно обращалась к воспоминаниям детства; она повествовала об них монотонным речитативом, сбессвязно превознося славу султана Сулу, его великолепие, могущество, доблесть, страх, поражавший сердца белых людей при виде его быстроходных пиратских судов. К этим бессвязным воспоминаниям о могуществе ее деда примешивались отрывки более поздних впечатлений, среди которых первое место занимали великая битва с бригам „Белого Дьявола“ и жизнь в самарангском монастыре. Тут ход ее мысли обычно обрывался; она вытаскивала из-за пазухи маленький медный крестик, всегда висевший у нее на шее, и смотрела на него с суеверным ужасом. Это суеверное

чувство, приписывавшее какие-то чудодейственные свойства этому кусочку металла, да еще более туманное, но ужасное представление о злых джинах и страшных муках, придуманных, по ее мнению, матушкой-настоятельницей нарочно для ее наказания, в случае потери фетиша, составляли весь богословский багаж, данный миссис Олмэйр в напутствие для плавания по бурному морю житейскому. Но миссис Олмэйр имела в жизни хоть что-нибудь осязательное, к чему она, в случае надобности, могла прибегнуть; у Найны же, воспитанной под протестантским крылышком чопорной миссис Винк, не было даже такого кусочка меди, который напоминал бы ей о прежнем учении. Прислушиваясь к описаниям этой дикой славы, этих варварских сражений и свирепых празднеств, к рассказам о доблестных, хотя и несколько кровавых подвигах, в которых племя ее матери затмевало людей племени оранг-бланда¹⁾, она испытывала какое-то неизъяснимое очарование; она с тайным изумлением чувствовала, как спадали с нее тесные покровы культурной морали, в которые благомыслящие люди облекли ее юную душу, и беспомощно содрогалась, сознавая себя как бы на краю глубокой, неведомой бездны. Но странное дело,—бездна эта не страшила ее, пока она находилась под влиянием ведьмы, которую звала своею матерью. Пока она жила в культурной обстановке, она как-будто забыла о прежней своей жизни, о том, что было до того мгновения, когда Лингард, так сказать, похитил ее из Броу. С тех пор она получила воспитание в христианском духе; ее научили светским манерам и показали ей цивилизованный образ жизни. К сожалению, наставники не поняли ее души, и воспитание окончилось унижительной для нее сценой, взрывом презрения со стороны белых людей к ее смешанному происхождению. Она глубоко пережила всю горечь этой сцены и твердо запомнила, что негодование добродетельной миссис Винк обрушилось не столько на юношу, служившего в банке, сколько на нее самое, хотя она была не виновата в его увлечении. И точно так же для нее не существовало ни малейшего сомнения в том, что главной причиной негодования миссис Винк была мысль, что подобная вещь могла случиться в ее белом гнездышке, куда ее белоснежные голубки, две мисс Винк, только-что вернулись из Европы, чтобы под материнским крылышком ожидать появления предназначенных им судьбою безупречных супругов. Даже мысль о деньгах, с таким трудом собираемых Олмэйром для покрытия расходов Найны

¹⁾ Оранг-бланда — белые люди.

и так аккуратно им высылаемых, не могла поколебать добродетельного решения миссис Винк. Найна была изгнана; да она и сама стремилась уехать, хотя ее и пугала немного предстоявшая ей перемена жизни. С тех пор она уже целых три года прожила на реке между матерью-дикаркой и слабым, нерешительным, жалким отцом, бродившим по двору среди ям, но мысленно витавшим в заоблачных высях. Она жила без всяких культурных удобств, в нищенской домашней обстановке. Ей приходилось дышать в атмосфере грязной погони за наживой, отвратительных интриг и преступлений, совершаемых ради денег или развратных вожделений. Все это, вместе с домашними ссорами, составляло единственные события этих трех лет ее жизни. Сперва она думала, и даже надеялась, что через месяц она умрет от отвращения и отчаяния. Но она осталась в живых, и напротив, по прошествии полугода ей уже казалось, что она никогда не знала другой жизни. Ее молодой ум, которому сначала неумело показали нечто лучшее, чтобы потом снова отбросить его в безнадежную трясину варварства, полную сильных и безудержных страстей, совершенно утратил способность разбираться в окружающей жизни. Найне казалось, что никакой перемены или разницы и не существовало. Торговали ли люди в каменных складах или на топком берегу реки; гнались ли они за малым или за великим; вели ли они любовные интриги под сенью могучих деревьев или в тени собора на сингапурском бульваре; добивались ли своего под охраной законов и согласно правилам христианского поведения, или искали удовлетворения своих желаний с первобытной хитростью и необузданной пылкостью дикарей, — Найна всюду видела те же проявления любви и ненависти и грязной жадности, вечно преследовавшей ускользающий доллар во всех его бесчисленных и переменчивых воплощениях. По прошествии всех этих лет дикая и несомненная откровенность намерений, проявляемая ее сородичами — майлапцами, казалась ее решительной натуре лучше увертливого лицемерия, вежливой маскировки и добродетельного притворства тех белых людей, с которыми она имела несчастье столкнуться. К тому же она знала, что жизнь ее в будущем должна быть такою же, какою была в настоящем; поэтому она все больше и больше подпадала под влияние матери. По своей неопытности она стремилась найти в этой жизни хорошую сторону и жадно прислушивалась к рассказам старухи о былой славе раджей, из рода которых она происходила; мало-по-малу она начала все равнодушнее и пренебрежительнее относиться к своим белым пред-

кам, представленным слабым и чуждым всяких традиций отцом.

После ее приезда в Самбир затруднения Олмэйра отнюдь не уменьшились. Правда, волнение, вызванное ее приездом, давно улеглось, и Лакамба не возобновлял своих посещений; но примерно через год после отплытия военного фрегата вернулся из паломничества в Мекку Сеид-Решид, племянник Абдуллы, украшенный зеленой курткой и громким титулом „хаджи“. С парохода, на котором он прибыл, пускали ракеты, а на усадьбе раджи всю ночь трещали барабаны. Пир затянулся до позднего утра. Решид был любимым племянником и наследником Абдуллы. Встретив однажды Олмэйра на берегу, нежный дядюшка подошел к нему с приветствием и торжественной просьбой о свидании. Олмэйр ожидал какой-нибудь плутни или по меньшей мере неприятности, но, разумеется, согласился, проявив при этом живейшую радость. Согласно уговору, Абдулла явился на следующий же вечер после заката солнца в сопровождении нескольких других седобородых старцев и своего племянника. Молодой человек, имевший вид мота и кутилы, делал вид, что он бесконечно равнодушен ко всему происходящему. Когда факельщики столпились у подножия лестницы, а посетители разместились на колченогих стульях, Решид отошел в сторонку и стал в тени, с величайшим вниманием рассматривая свои аристократические маленькие руки. Удивленный торжественным поведением своих посетителей, Олмэйр, с характерным для него отсутствием достоинства, уселся на краюшке стола, что тотчас же было отмечено арабами с большим неодобрением. Но вот Абдулла заговорил, глядя мимо Олмэйра прямо в сторону красной занавеси, висевшей в дверях; легкие движения ее указывали на присутствие за нею женщин. Он начал с того, что в изысканных выражениях поздравил себя и Олмэйра с той долгой вереницей лет, которые они прожили в дружеском соседстве, и молил аллаха ниспослать Олмэйру много лет жизни на радость его друзьям. Он вежливо намекнул на великое уважение, оказанное ему (т. е. Олмэйру) голландской комиссией, и вывел из этого лестное заключение о большом значении Олмэйра среди его народа. Он—Абдулла—также имеет вес среди остальных арабов, а племянник его, Решид, унаследует его положение в свете и его богатство. Решид теперь хаджи. Он является обладателем нескольких женщин-малаек; но пора ему обзавестись любимой женою, первую из четырех, дозволенных пророком. С тою же изысканною учтивостью он объяснил Олмэйру, что, если тот согласится выдать свою дочь за правверного и

добродетельного юношу Решида, то она будет обладательницей всех чудес его дома и старшею женою первого араба на островах, после того как всеблагий аллах призовет его, Абдуллу, к райскому блаженству.

— Ты знаешь, Тюан,—сказал он в заключение,—что все остальные женщины будут ее служанками и что дом Решида просторен. Он привез из Бомбея большие диваны, дорогие ковры, европейскую мебель. Есть там и зеркало в раме, которая блестит как золото. Чего же еще нужно девушке?

И в то время, как Олмэйр в безмолвном замешательстве глядел на Абдуллу, тот знаком удалил свою свиту и перешел на более конфиденциальный тон, закончив свою речь указанием на материальные выгоды этого союза и предложив Олмэйру внести на его имя три тысячи долларов в знак его, Абдуллы, искренней дружбы и в качестве выкупа за девушку.

С бедным Олмэйром едва не приключился припадок. Ему страстно хотелось схватить Абдуллу за горло; но стоило ему только вспомнить свое беспомощное положение среди этих на всё готовых людей, чтобы понять необходимость дипломатического выхода из положения. Он поборол подымавшееся в нем желание и холодно и учтиво отвечал, что девушка еще молода и дорога ему как зеница ока. Тюан Решид, правоверный и хаджи, не захочет иметь в своем гареме женщину-гяурку; но, увидев скептическую улыбку, которою Абдулла отвечал на это последнее возражение, он замолчал, не смея продолжать, не решаясь ни отказать наотрез, ни сказать что-нибудь, похожее на согласие. Абдулла понял смысл этого молчания и с важным поклоном стал прощаться. Он пожелал „тысячу лет“ жизни своему другу Олмэйру и спустился с лестницы, почтительно поддерживаемый Решидом. Факельщики замахали своими факелами, рассеяв над рекою целый дождь искр, и процессия удалилась. Олмэйр был сильно взволнован, и уход гостей принес ему значительное облегчение. Он бросился в кресло и следил за мелькавшими среди древесных стволов огнями, пока они не скрылись из глаз и полная тишина не сменила топота ног и гула голосов. Он не пошевелился до тех пор, пока не зашелестела занавеска и Найна не вышла на веранду. Она уселась в качалку, в которой ежедневно проводила много часов к ряду, и принялась слегка покачиваться в ней, откинувшись на спинку и полузакрыв глаза. Длинные волосы затеняли ее лицо от дымного света настольной лампы. Олмэйр украдкой взглянул на нее, но ее лицо было бесстрастно как всегда. Она слегка повернулась к отцу и, к великому его изумлению, заговорила по-английски:

— Это Абдулла был здесь?—спросила она.

— Да,—отвечал Олмэйр,—сейчас только ушел.

— Чего он хотел, отец?

— Купить тебя для Решиды,—грубо отвечал Олмэйр, подаваясь чувству гнева и глядя на девушку так, словно ожидал какой-нибудь вспышки с ее стороны. Но Найна видимо сохраняла полное спокойствие и мечтательно вглядывалась в темную ночь.

— Смотри, Найна, будь осторожна, когда катаешься одна по реке,—сказал Олмэйр, помолчав и вставая со стула.— Этот Решид дерзкий негодяй, и от него всего можно ожидать. Ты слышишь, что я говорю?

Она тоже встала с места, готовясь войти в дом, и взялась рукою за дверную занавесь. Вдруг она обернулась и внезапным движением отбросила назад свои тяжелые косы.

— Ты думаешь, он посмеет?—быстро спросила она и потом снова повернулась, чтобы уйти, прибавив уже тише:

— Не посмеет. Арабы все трусы.

Олмэйр с удивлением посмотрел ей вслед. Он не отправился на покой в свой гамак, а продолжал шагать взад и вперед по веранде, задумчиво останавливаясь по временам у балюстрады. Лампа погасла, первый луч зари загорелся над лесом; Олмэйр вздрогнул от сырости воздуха.

— Ничего не понимаю!—пробормотал он, устало ложась в гамак.—Чорт бы побрал этих женщин! Право, похоже на то, что девчонке хочется, чтобы ее украли.

И он почувствовал, как безотчетный страх заползал к нему в сердце, заставляя его трепетать и содрогаться.

ГЛАВА IV

В тот год, незадолго до окончания периода юго-западных муссонов, тревожные вести дошли до Самбира.

Капитан Форд зашел как-то к Олмэйру провести вечерок в дружеской беседе и принес последние номера газеты „Стрэйтс-Таймс“ с известиями об Ачинской войне и о неудачной голландской экспедиции. *Находы* с редких торговых барж, подымавшихся по реке, являлись к Лакамбе, обсуждали вместе с ним пошатнувшееся положение дел, важно покачивали головами при рассказах о взятках, притеснениях и строгостях голландских властей; строгости выражались главным образом в том, что торговля порохом была безусловно воспрещена и что все подозрительные суда, крейсировавшие в Макаassarском проливе, подвергались строжайшему осмотру.

Даже верноподданническая душа Лакамбы преисполнилась глухого недовольства: у него отняли разрешение на покупку и продажу пороха, а канонерка „Принцесса Амелия“ неожиданно конфисковала у него полтораста боченков этого груза в ту самую минуту, когда он уже достигал устья реки после рискованного плавания. Эту неприятную весть принес Лакамбе Решид. После неудачного исхода своего сватовства он совершил длинную деловую поездку по островам, закупая порох для своего друга, но был застигнут на обратном пути и вынужден расстаться с товаром в тот момент, когда уже начал ликовать, что ему удалось так ловко избежать поимки. Гнев Решида направлен был преимущественно против Олмэйра; он подозревал, что именно Олмэйр донес голландским властям о той негласной войне, которую арабы под предводительством раджи вели с дайаками, жившими у верховьев реки.

К большому удивлению Решида, раджа чрезвычайно холодно отнесся к его жалобам и не проявил никаких мстительных намерений по отношению к белолицему человеку. Дело в том, что Лакамбе хорошо была известна непричастность Олмэйра к каким бы то ни было государственным делам; кроме того, его отношение к гонимой им жертве

успело измениться: он недавно примирился с этим врагом, и примирителем был Дэйв Марула, новый приятель Олмэйра.

Да, наконец-то Олмэйр нашел себе друга! Вскоре после того, как Решид отправился в свое торговое плавание, Найна возвращалась домой в челноке, после своей обычной уединенной прогулки. Она плыла по течению, как вдруг услышала плеск, как-будто в воду упали канаты; вслед за тем до нее донеслось и протяжное пенье малайских матросов, тянущих бечеву; звуки доносились со стороны одного из небольших рукавов реки. Сквозь чащу кустарника, скрывавшего устье протока, девушка разглядела высокие мачты оснащенного на европейский лад парусного судна; мачты подымались над верхушками низкорослых пальм. Из узкого протока в главную реку выводили на буксире бриг. Солнце уже закатилось, но при свете коротких сумерек Найна успела разглядеть, что подгоняемый течением и попутным бризом, корабль направлялся к Самбиру под распущенным передним парусом. Девушка направила свой челнок из главной реки в один из бесчисленных узких протоков между лесистыми островками и усиленно принялась грести к Самбиру по темным и сонным каналам. Ее челнок задевал прибрежные пальмы, огибал топкие отмели, с которых неповоротливые аллигаторы глядели на нее с ленивым равнодушием,—и вылетел на простор реки в месте слияния обоих главных рукавов ее как-раз в ту минуту, когда наступила темнота. Бриг уже стоял на якоре с убранными парусами. Палуба была пустынна, словно вымерла.

Чтобы доехать до своего дома, стоявшего на низком мысу между двумя рукавами Пантэя, Найна должна была переплыть реку довольно близко от брига. В домиках, выстроенных вдоль обоих протоков, уже мерцали огоньки, отражавшиеся в спокойной воде. По широкой реке до Найны доносился гул голосов, детский крик, быстрый и отрывистый бой барабана, да перекличка запоздалых рыбаков.

Девушка остановилась было в нерешительности, прежде чем переправляться через реку, потому что ее слегка тревожил вид такого необычайного предмета, как европейски оснащенный корабль; но широкий простор Пантэя тонул во мраке, в котором маленькому челноку нетрудно было укрыться.

Найна быстрыми ударами весла погнала вперед свою утлую ладью, стоя в ней на коленях и нагибаясь вперед, чтобы лучше уловить малейший подозрительный шорох. Она правила прямо к маленькой пристани „Лингард и К^о“. На выбеленной веранде Олмэйрова бенгалуу горела пара-

финовая лампа, служившая девушке верным маяком. Самой пристани видно не было, она скрывалась во тьме побережья, под навесом прибрежного кустарника. Прежде чем Найна успела разглядеть пристань, она услышала, как о сваи ударились какая-то большая лодка. Из лодки неслись голоса. Так как лодка была белая и длинная, Найна догадалась, что это шлюпка с только-что прибывшего брига. Пospешным ударом весла девушка остановила свой челнок, потом круто повернула его прочь и направила в ручеек, подходивший к задворкам дома. Она миновала банановую рощицу, пронизанную красноватыми полосками света, которые падали слева, со стороны кухонного навеса. В вечерней тишине до нее долетел отголосок женского смеха, из чего она безошибочно заключила, что матери ее нет поблизости: смех плохо уживался с миссис Олмэйр.

«Она, должно быть, в доме», — подумала Найна, легко взбегая по отлогим дрожащим доскам; доски вели к задней двери узкого коридорчика, разделявшего дом надвое. Перед дверью, в густой тени, стоял верный Али...

— Кто это у нас? — спросила Найна.

— Какой-то важный малаец! — возбужденно отвечал Али. — Очень богатый: у него шестеро воинов с копьями, понимаешь, настоящих солдат. И одежда на нем знатная! Я видел его одежду — так и блестит! И какие драгоценности! Не ходи туда, мем Найна! Тюан не велел. Но старая мем все-таки пошла! Аллах милосердный, что за драгоценности!

Найна уклонилась от протянутой руки раба и скользнула в темный коридор, в конце которого, в алом отблеске занавески, виднелась небольшая темная фигурка, прикурнувшая у стены. Это ее мать услаждала свой слух и зрение, следя за тем, что происходило на передней веранде, и Найна подошла к ней, чтобы тоже испытать редкое для нее упоение новизной.

Мать преградила ей путь рукою и приказала не шуметь.

— Ты видела их, мать? — спросила Найна, задыхаясь.

Миссис Олмэйр обернулась лицом к девушке, и впалые глаза ее странно блеснули в красноватой полу-мгле коридора.

— Я видела его, — произнесла она едва слышно, сжимая руку дочери своими костлявыми пальцами. — Великий раджа посетил Самбир, сын неба, — бормотала про себя старуха. — Уходи отсюда, девушка!

Обе женщины стояли около самой занавески. Найне хотелось тоже посмотреть в дырку, но мать с гневным упорством защищала свою позицию. По ту сторону зана-

вески разговор на минуту прервался, и в наступившем молчании слышалось только дыхание нескольких человек, бряцание украшений, звяканье металлических ножен или медных плевательниц, передаваемых от одного к другому.

Женщины молчаливо боролись, как вдруг раздалось шарканье ног, и коренастая тень Олмэйра упала на занавеску.

Женщины так и замерли. Олмэйр поднялся со стула, чтобы ответить своему гостю, и стоял спиной к двери, не подозревая, что происходило за нею. В голосе его слышалась досада и сожаление.

— Ты не по тому адресу обратился, Тюан Марула, если хочешь вести дела так, как говоришь. Когда-то я действительно был купцом, но теперь я уже не занимаюсь торговлей, что бы ни говорили обо мне в Макассаре. В чем бы ты ни нуждался, ты ничего не найдешь у меня. Я ничего не могу дать и сам ничего не ищу. Тебе следовало бы пойти к здешнему радже. Днем отсюда виден его дом на том берегу—вон там, где горят костры. Он поможет тебе и будет торговать с тобою. Или, еще лучше—ступай к арабам, вон туда,—прибавил он с горечью, указывая пальцем в сторону домов Самбира.—Абдулла—вот человек, который тебе нужен. Нет на свете ничего такого, чего бы он не купил и чего бы не продал; поверь мне, я хорошо его знаю.

Он немного помолчал, ожидая ответа, потом прибавил: — Все, что я сказал—правда, и больше мне нечего сказать.

Найна, которую мать все еще не пропускала вперед, услыхала мягкий голос, отвечавший спокойно и ровно, как свойственно малайцам высшего круга:

— Кто усумнится в словах белого Тюана? Но человек ищет друзей там, где ему подсказывает сердце, не правда ли? Я пришел, несмотря на поздний час, потому что хочу сказать тебе нечто такое, что, может быть, обрадует тебя. Завтра я пойду к султану; купцу нужна дружба великих мира сего. Потом я вернусь сюда, если ты позволишь, Тюан, для важных разговоров. К арабам же я не пойду,—слишком мало правды у них на устах! Да и кто они? Шелакка!

Голос Олмэйра прозвучал уже приветливее, когда он отвечал:

— Как тебе будет угодно. Я могу выслушать тебя завтра в любое время, если ты захочешь поведать мне что-нибудь. Да нет,—ты раздумываешь возвращаться сюда после того, как повидаешь султана Лакамбу. Да, Инчи Дэйи, вот увидишь. Только знай: я не желаю иметь никакого дела с Лакамбой. Можешь так и сказать ему... Но чего тебе, в сущности, от меня нужно?

— Завтра мы побеседуем, Тюан, благо я теперь узнал тебя,—отвечал малаец.—Я говорю немного по-английски; мы сможем поговорить так, чтобы нас никто не понял, и тогда... Он вдруг перебил свою речь, спросив с удивлением:

— Что это за шум, Тюан?

Тем временем Олмэйр тоже обратил внимание на усиливавшийся шум потасовки на женской стороне занавески. Повидимому, сильное любопытство Найны готово было одержать победу над повышенным чувством приличия, охватившим миссис Олмэйр. Слышно было тяжелое дыхание, и занавеска сильно заколыхалась от борьбы, а голос миссис Олмэйр раздавался с обычной для нее бессвязностью доводов, но зато с обилием ругательств:

— Бесстыдница! Разве ты рабыня?—визгливо кричала разгневанная матрона.—Закрой лицо, негодная! Белая змея! Я не пушу тебя!

Лицо Олмэйра выражало досаду, а также и сомнение в том, насколько желательно посредничество между матерью и дочерью. Он взглянул на своего гостя-малайца, молчаливо ожидавшего конца суматохи, при чем вся поза его выражала веселое недоумение. Олмэйр презрительно махнул рукой, пробормотав:

— Это пустяки,—просто женщины.

Малаец важно кивнул головой, и лицо его приняло выражение безмятежного равнодушия, как того требовал этикет после подобного рода объяснения. Спор за занавеской утих, и победа, видимо, досталась младшей женщине, потому что быстрый стук и шарканье сандалий с высокими каблуками, которые носила миссис Олмэйр, замерли в отдалении. Успокоенный хозяин дома собирался уже возобновить разговор, как вдруг его поразила перемена в лице его гостя. Он повернул голову и увидел Найну, стоявшую на пороге.

После того, как миссис Олмэйр бежала с поля сражения, Найна подняла занавеску и презрительно крикнула:

— Да ведь это только торгаш, — и теперь стояла в полном освещении, ярко выделяясь на темном фоне коридора; губы ее были слегка раскрыты, волосы растрепаны от борьбы; гневный огонь еще не совсем погас в ее дивных, сверкающих глазах. Она во мгновение ока разглядела группу копьеносцев, неподвижно стоявших в дальнем конце веранды, и с любопытством вперила взгляд в предводителя столь внушительного отряда. Он стоял почти прямо против нее, пораженный красотой неожиданного видения. Он низко склонился и поднял над головою сложенные руки в знак почтения; таким приветствием малайцы встречают только великих мира

сего. Яркий свет лампы падал на золотое шитье его черной шелковой куртки, рассыпался тысячью сверкающих лучей по украшенной драгоценными камнями рукоятке его *крисса*¹⁾, торчавшего из-за пышных складок красного *саронга*, схваченного кушаком, и играл на драгоценных камнях многочисленных колец, унизывавших его темные пальцы.

Он быстро выпрямился после низкого поклона и с изящной непринужденностью положил руку на рукоять своего тяжелого, короткого меча, украшенную ярко-расцветочной бахромой из конских волос. Найна, стоя на пороге, увидела прямую, стройную фигуру среднего роста; широкие плечи свидетельствовали о большой силе. Из-под складок голубого тюрбана, концы которого, украшенные бахромой, грациозно падали на левое плечо, на нее смотрело лицо смелое, задорное, полное добродушного юмора и в то же время некоторого величия. Широкая нижняя челюсть, полные красные губы, подвижные ноздри и гордая посадка головы—все это создавало впечатление чего-то полудикого, необузданного, даже, пожалуй, жестокого и сглаживало почти женственную прозрачность и нежность взгляда—эту характерную черту его племени.

Когда прошло первое замешательство от неожиданной встречи, Найна заметила, что этот взгляд устремлен был на нее с таким откровенным выражением восторга и страсти, что она ощутила незнакомую ей доселе робость, смешанную с тревогой и радостью. Это чувство охватило ее всю. Смущенная непривычным волнением, она остановилась на пороге и инстинктивно прикрыла лицо краем занавеси, оставив открытой лишь часть округлой щеки, непослушную прядь волос и один глаз, которым продолжала созерцать это великолепное и смелое существо, столь непохожее по внешности на те редкие образчики торгового люда, которые ей доводилось видеть на этой веранде.

Свита Дэйна Марулы смотрела на девушку, разинув рот от восторга, а он, ослепленный неожиданным видением, позабыл о сконфуженном Олмэйре, о своем бриге, о своей свите, о цели своего посещения и вообще обо всем на свете и испытывал одно лишь непреодолимое желание—продлить возможно дольше созерцание этой красоты, встреченной в таком неподобающем, по его мнению, месте.

— Это моя дочь,—сказал сконфуженно Олмэйр.—Но это неважно. У белых женщин свои обычаи, как ты, вероятно, и сам знаешь, Тюан; ты же говоришь, что ты много ездил

1) *Крисс*—малайский княжал.

по свету.—Однако, уже становится поздно. Мы окончим нашу беседу завтра.

Дэйн низко поклонился, стараясь последним смелым взглядом в сторону девушки выразить свой непреодолимый восторг. Через минуту он важно пожимал руку Олмэйра, и лицо его выражало полнейшее безучастие к тому, присутствует здесь какая бы то ни было женщина, или нет.

Его люди двинулись вперед, и он поспешил за ними, сопровождаемый свирепого вида суматрийцем, которого он перед тем отрекомендовал как капитана своего корабля.

Найна подошла к балюстраде веранды и следила за игрой лунного света на стальных наконечниках копий и за ритмичным бряцаньем медных браслетов на ногах у воинов, гуськом направлявшихся к пристани. Вскоре лодка отчалила, то ярко выделяясь во всю свою величину в полосах лунного света, то сливаясь в бесформенную черную массу в легкой дымке, нависшей над водою. Найне чудилось, будто она различает изящную фигуру купца, стоявшего во весь рост на корме, но в скором времени все очертания расплылись, смешались и окончательно исчезли в клубах белого тумана, окутавшего середину реки.

Олмэйр подошел к дочери, оперся обеими руками о перила и стал хмуро созерцать кучу мусора и битых бутылок у подножия веранды.

— Что это был за шум сейчас?— сердито проворчал он, не подымая головы.— Чорт бы вас побрал, и твою мать и тебя! Чего это ей тут понадобилось? Да и ты сама для чего выходила?

— Она не хотела, чтобы я выходила, и теперь сердится,— отвечала Найна.— Она говорит, что человек, который сейчас ушел, какой-нибудь раджа. И я думаю, это верно.

— Похоже, будто все вы, бабы, с ума сошли!— огрызнулся Олмэйр.— Что за дело ей, и тебе, и вам всем! Ваш раджа хочет собирать *трепанг*¹⁾ и птичьи гнезда на островах. Завтра он опять придет. Чтобы вас обеих в доме не было и чтобы вы не смели мне мешать!

Дэйн Марула вернулся на следующий день и имел длинную беседу с Олмэйром. Так начались продолжительные и близкие отношения между ними, сначала обратившие на себя всеобщее внимание в Самбуре; но потом население привыкло к тому, что на усадьбе Олмэйра пылало множество костров; люди Марулы грелись у них в холодные ночи, когда дул северо-восточный муссон, а господин вел длинные переговоры с Тюаном-Путай,—так они называли между собою Олмэйра.

¹⁾ *Трепанг*—морские улитки.

Большое любопытство в Самбуре возбудил этот новый купец. Был ли он у султана? Что сказал султан? Поднес ли он султану дары? Что он будет продавать? Что он будет покупать? Вот вопросы, оживленно обсуждавшиеся обитателями бамбуковых хижин, выстроенных над рекою. Но даже и в более прочных зданиях—в доме у Абдуллы, у главных дельцов—арабов, китайцев и бугиев¹⁾—царило сильное и длительное возбуждение. По врожденной подозрительности, никто не хотел верить тому, что с такой охотой рассказывал о себе молодой купец; а между тем его рассказы были вполне правдоподобны. Он говорил, что он купец и продает рис. Он не собирался покупать ни пчелиного воска, ни гуттаперчи, потому что хотел занять свой многочисленный экипаж собираньем трепанга на коралловых рифах в устье реки и поисками птичьих гнезд на суше. Он заявлял о своей готовности покупать эти предметы, если только кто-нибудь согласится их продать. Он говорил, что он родом с острова Бали и принадлежит к касте браминов, что и подтверждалось его упорным отказом от пищи, когда он бывал в гостях у Олмэйра и Лакамбы. К Лакамбе он обыкновенно являлся под-вечер и имел продолжительные аудиенции. Бабалатчи, неизменно присутствовавший при этих свиданиях купца и правителя, умел отваживать любопытных, пытавшихся узнать содержание столь частых и длинных бесед. Когда величавый Абдулла принимался расспрашивать его с видом томной учтивости, он тупо уставлялся в одну точку своим единственным глазом и притворялся придурковатым.

— Я только раб господина моего,—бормотал Бабалатчи, словно раздумывая, отвечать на вопрос или нет. Потом вдруг, как бы решившись на безграничную откровенность, он сообщал Абдулле о какой-нибудь сделке на рис, при чем с необычайной таинственностью шептал такие, напр., слова: „Султан купил сто больших мешков—целых сто, Тюан!“

Несмотря на то, что Абдулла был твердо уверен в существовании гораздо более крупных сделок, он принимал подобные сообщения со всеми признаками почтительного изумления. Потом собеседники расходились в разные стороны, при чем араб в душе проклинал хитрую собаку; а Бабалатчи брел своей дорогой по пыльной тропинке, раскачивая корпус, выставляя вперед подбородок с редкими седыми волосами, и был удивительно похож на любопытного козла, отправившегося в какую-нибудь злонамеренную экспедицию.

¹⁾ Бугии—народ малайского происхождения.

Внимательные глаза следили за каждым его шагом. Завидев его издалека, Джим-Энг стряхивал с себя отупение, присущее закоренелому курильщику опия, ковылял на середину дороги, чтобы встретить эту важную особу и приветствовать ее радушным приглашением. Но скромность Бабалатчи была неуязвима даже для соединенной атаки дружеских излияний и крепкого джина, щедро подносимого гостеприимным китайцем. В конце концов Джим-Энгу приходилось признавать себя побежденным, и он оставался один на один с пустою бутылкою, ничего не узнав и печально глядя вслед удаляющемуся Самбирскому сановнику, а тот, спотыкаясь и пошатываясь, брел своей дорогой, неизменно приводившей его на усадьбу Олмэйра.

С тех пор как Дэйну Маруле удалось устроить примирение между его белым другом и раджою, кривой дипломат снова сделался частым гостем в доме у голландца. К большому неудовольствию Олмэйра, Бабалатчи можно было встретить там во всякое время; то он рассеянно прохаживался по веранде, то прятался где-нибудь в коридоре, то выскакивал из-за угла в самом неожиданном месте. Притом он всегда готов был завести конфиденциальную беседу с миссис Олмэйр. Он сильно побаивался самого хозяина дома, словно опасался, как бы затаенные чувства белолицего человека не проявились вдруг неожиданным туманом. Зато кухонный навес сделался его любимым местопребыванием. Он часами просиживал на корточках среди хлопотливых женщин, положив подбородок на колени и охватив их тощими руками; одинокий глаз его беспокойно перебегал с предмета на предмет, и весь он являл собою воплощение бдительного уродства. Олмэйр не раз собирался пожаловаться Лакамбе на чрезмерную назойливость его премьер-министра, но Дэйн отговаривал его.

— Слова нельзя сказать, чтобы он не подслушал, — ворчал Олмэйр.

— Тогда приезжай разговаривать ко мне на корабль, — возражал Дэйн со спокойной улыбкой. — А сюда его непременно надо пускать. Лакамба думает, что ему многое известно. Может быть, султан боится, как бы я не сбежал. Пусть уж лучше одноглазый крокодил греется на солнышке у тебя в усадьбе, Тюан.

И Олмэйр поневоле соглашался, хоть и грозил, что раздается с негодяем по-своему; он злобно впивался глазами в престарелого сановника, а тот как ни в чем не бывало, со спокойным упорством продолжал сидеть у его семейного котла, где варился рис.

ГЛАВА V

Возбуждение в Самбуре наконец замерло.

Обитатели привыкли к постоянным сношениям между домом Олмэйра и бригом, пришвартованным к противоположному берегу, а рассуждения и догадки о том, что означает лихорадочная деятельность работников Олмэйра, чинивших старые челноки, перестали удерживать самбирских кумушек от исполнения домашних обязанностей.

Даже обманутый в своих ожиданиях Джим-Энг перестал утруждать свой затуманенный мозг коммерческими тайнами и с помощью своей трубки вновь вернулся к состоянию тупого блаженства. Бабалатчи спокойно мог проходить мимо его дома, не опасаясь приглашений китайца: тот даже и не смотрел на него.

Вот почему в этот знойный день, когда опустевшая река вся искрилась под отвесными лучами солнца, самбирский сановник мог не опасаться, что его остановят любознательные друзья, спокойно вытащил свой маленький челнок из чащи кустарников, куда он всегда прятал его на время своих посещений дома Олмэйра. Бабалатчи греб медленно и вяло, съездившись на дне лодки, стараясь укрыться под своей неobjятной шляпой от палящего зноя, отражаемого разгоряченной водой. Ему не зачем было спешить: повелитель его Лакамба наверное отдыхал в эту пору дня. Он успеет перебраться через реку и приветствовать его при пробуждении важными вестями. Останется Лакамба доволен ими или нет? Застучит ли он гневно по полу посохом из черного дерева, пугая раба своего бурным потоком бессвязных восклицаний, или присядет на корточки с добродушной улыбкой и примется обильно отхаркиваться в медную плевательницу, слегка потирая себе живот руками и издавая тихое одобрительное бормотанье? Так размышлял Бабалатчи, а сам ловко работал веслом, направляясь к участку раджи, ограда которого виднелась сквозь густую прибрежную чащу леса как-раз напротив бенгалу Олмэйра.

Бабалатчи действительно имел что сообщить Лакамбе. Наконец-то ему посчастливилось найти несомненное под-

тверждение его подозрений; до сих пор он только подозревал тайную близость между Дэйном Марулой и дочерью белого человека; он перехватывал их беглые взгляды, он подслушивал краткие, но пылкие речи и все же не знал ничего достоверного. Лакамба до сих пор с недоверием выслушивал его донесения; отныне он должен будет поверить ему, так как теперь у Бабалатчи имелись и доказательства. Он получил их сегодня утром, когда удил на рассвете рыбу в том ручье, над которым стоит дом Буланджи.

Из своей лодочки он видел, как по течению реки спустился длинный челнок Найны; она сидела на корме, наклонившись над Дэйном, а он лежал на дне челнока; голова его покоилась у нее на коленях. Бабалатчи видел это своими собственными глазами. Он даже поплыл за ними следом, но вскоре они взялись за весла и ушли от его наблюдений. Немного погодя ему повстречалась невольница Буланджи, плывшая в крохотной лодочке по направлению к городу, куда она везла продавать свое печенье. Она тоже заметила их в предрассветной мгле. И Бабалатчи усмехнулся себе в бороду, вспомнив расстроенное лицо рабыни, ее огорченный взгляд, дрожание ее голоса, когда она отвечала на его вопросы. Эта маленькая Тамина видимо сама равнодушна к Дэйну Маруле. Прекрасно! Бабалатчи даже засмеялся вслух при этой мысли; но потом он сразу сделался серьезен и по какой-то странной ассоциации мыслей принялся раздумывать о том, за какую сумму Буланджи согласится продать эту девушку. Он грустно покачал головою при мысли о жадности Буланджи: два месяца назад ему давали за эту девушку целых сто долларов, а он не пожелал, отказался. Тут он вдруг заметил, что течение увлекло его челнок слишком далеко. Он стряхнул с себя печальные мысли о жадности Буланджи и, взявшись за весло, в несколько ударов причалил к шлюзам у дома раджи.

В последнее время Олмэйр каждый день проводил у реки, наблюдая за починкой своих челноков. Он и теперь был там, переходя с места на место. Дело в том, что он наконец решил. Следуя отрывочным указаниям, найденным им в записной книжке старика Лингарда, он собирался отправиться на поиски богатейшей золотой россыпи; он мечтал проникнуть в те места, где стоит только нагнуться, чтобы подобрать несметные богатства и таким образом осуществить мечту юности. Для того, чтобы заручиться необходимой поддержкой, он поделился своими сведениями с Дэйном Марулой и согласился примириться с Лакамбой, обещавшим свое содействие, если ему будет предоставлена

доля добычи. Это предприятие было так рискованно, что Олмэйру для достижения цели пришлось пожертвовать своей гордостью, честью и даже верностью родине; к тому же он был ослеплен теми благами, которые сулил ему этот неприятный, но необходимый союз. Опасность была велика, но зато велико было и мужество Дэйна; его люди казались такими же бесстрашными, как и их вождь, а помощь Лакамбы заранее предreshала успех.

Последние две недели Олмэйр с головою ушел в приготовления; он как сомнамбула расхаживал среди своих рабочих и невольников; это был какой-то сон наяву; чисто практические подробности оборудования лодок перемещивались в этом сне с яркими грёзами о неслыханном богатстве; настоящие невзгоды—грязь и зловоние речного берега, зной — отступали перед лучезарным видением будущей роскоши. Они будут жить в роскоши, и он, и Найна.

Найны он почти не видал в эти дни, хотя любимая дочь все время занимала его мысли. На Дэйна он не обращал внимания,—постоянное присутствие молодого купца в его доме казалось ему совершенно естественным с тех пор, как их связывал между собою общий интерес. Встречая молодого вождя, он рассеянно приветствовал его и шел дальше, словно избегая его, словно пытаясь забыть ненавистную явь. Он уходил в работу или давал своей фантазии возноситься над вершинами деревьев и вместе с большими белыми облаками улетать на запад, туда, где европейский рай ожидает будущего восточного креза. Марула, со своей стороны, тоже не искал общества белого человека с тех пор, как условие было заключено и им не о чем больше было толковать. Впрочем, это не мешало ему постоянно вертеться в доме; но он никогда подолгу не оставался на берегу реки. При своих ежедневных посещениях малайский вождь предпочитал незаметно проходить через средний коридор в сад, где под кухонным навесом пылал огонь, а миссис Олмэйр зорко наблюдала за висевшим котлом. Дэйн избегал этого навеса, где постоянно валил черный дым и щебетали нежные женские голоса. Он сворачивал влево, где на опушке банановой рощицы группа пальм и манговых деревьев образовала тенистый уголок; разбросанные кругом кусты заслоняли его от остального мира; только болтовня служанок да изредка взрыв смеха проникали в этот уголок.

Укрывшись среди деревьев, Дэйн прислонялся к гладкому стволу высокой пальмы; глаза у него блестели, на губах

играла уверенная улыбка: он ждал, когда сухая трава слабо зашелестит под легкими шагами Найны.

С той самой минуты, как он впервые увидел эту, по его мнению, совершенную красоту, сердце его почувало, что девушка будет принадлежать ему. Он чувствовал, что их первобытные души легко понимают друг друга, и не нуждался в ободряющих улыбках миссис Олмэйр для того, чтобы пользоваться каждым случаем для сближения с девушкой.

Хотя Найна и отворачивалась, но всякий раз, как он заговаривал с нею, каждый раз, как он заглядывал ей в глаза, она чувствовала, что судьба навеки связала ее с этим смелоглазым человеком, шептавшим ей на ухо пылкие речи. Этот отважный, свирепый вождь, всегда готовый встретить врага ударом своего сверкающего крисса, а возлюбленную — страстными объятиями, олицетворял собой ее мечту. Он был идеальным малайским вождем, каким рисовали ей малайских вождей рассказы ее матери.

Вся замирая от сладкого трепета, она каким-то таинственным наитием угадывала, что оба они родственны друг другу по духу. Когда она внимала его словам, ей казалось, что она только сейчас познала новую жизнь, что существование ее полно только в его присутствии, и она отдавалась чувству мечтательного счастья в то время, как молча и полузакрыв лицо покрывалом, как подобало малайской девушке, она прислушивалась к речам Дэйна; он же расточал перед нею все сокровища любви и страсти, со всем безудержным одушевлением человека, не тронутого влиянием культурной самодисциплины.

Они проводили множество блаженных и быстролетных часов в тени манговых деревьев под благосклонным прикрытием кустарников, откуда резкий голос миссис Олмэйр не подавал сигнала к расставанию. Миссис Олмэйр взяла на себя благодарную задачу следить за тем, как бы ее супруг не помешал плавному течению романа ее дочери, которому она покровительствовала. Она радовалась и гордилась, видя увлечение Дэйна, потому что считала его великим и могущественным вождем; кроме того, великодушная щедрость Дэйна льстила ее корыстным инстинктам.

Накануне того дня, когда подозрения Бабалатчи подтвердились вполне, Дэйн и Найна дольше обыкновенного оставались в своем тенистом приюте. Только тяжелые шаги Олмэйра, раздавшиеся на веранде, да его нетерпеливое требование, чтобы ему дали поесть, заставили миссис Олмэйр окликнуть и предостеречь их. Марула легко перескочил через бамбуковую изгородь и по банановой роще прокрался

к вязкому берегу ручейка на задворках усадьбы, в то время как Найна медленно направилась к дому, чтобы прислуживать своему отцу; по вечерам она всегда ему прислуживала.— Олмэйр был чрезвычайно счастлив в тот день. Почти все приготовления были закончены; на завтра он собирался спустить лодки на воду. Ему чудилось, что быстрая добыча уже у него в руках, и он забылся над тарелкой с рисом, держа в руке оловянную ложку и предаваясь фантазиям о том роскошном банкете, который будет дан в его честь в Амстердаме. Откинувшись на спинку качалки, Найна рассеянно слушала бессвязные слова, срывающиеся с уст ее отца. Золото! Экспедиция! Что за дело ей до всего этого? Но она вся насторожилась, как только отец ее упомянул имя Марулы.

— Дэйн собирался на другой день отправиться вниз по реке на своем бриге; он будет в отсутствии несколько дней,—говорил Олмэйр.—Такая досадная проволочка! Придется отправляться в путь тотчас же после его возвращения, потому что вода в реке все прибывает. Весьма возможно, что произойдет большое наводнение.

— Он нетерпеливым жестом оттолкнул от себя тарелку и поднялся с места. Но Найна уже не слушала. Дэйн уезжает! Так вот почему своим повелительным тоном, которому она так охотно подчинялась, он приказал ей съехаться с ним на заре в ручье старика Буланджи!

„Есть ли весло в челноке?—подумала она.—Готов ли челнок?“

Ведь ей придется выехать через несколько часов, часа в четыре утра.

Она встала со стула, думая, что ей необходимо отдохнуть перед ожидавшей ее дальней поездкой. Лампа тускло мерцала; утомленный дневной работой отец уже вытянулся в своем гамаке. Найна погасила лампу и прошла в большую комнату—налево от главного коридора,—которую она разделяла с матерью. Войдя в нее, она заметила, что миссис Олмэйр покинула груды цыновок, служившую ей постелью в одном из углов комнаты, и наклонилась над своим большим деревянным сундуком. Половинка скорлупы кокосового ореха, наполненная маслом, где вместо фитиля плавала бумажная тряпочка, стояла на полу и окружала ее ореолом красноватого света, струившегося сквозь черный пахучий дым. Спина миссис Олмэйр была согнута, голова и плечи ее исчезали в глубине сундука. Она шарила руками, и слышался тихий звон, точно от серебряных монет. Сначала она не заметила приближения дочери, и Найна остановилась около

нее, молча глядя на множество холщевых мешечков, уложенных на дне сундука. Мать извлекала из них целые пригоршни блестящих гульденов и мексиканских долларов и сыпала их обратно, медленно пропуская через свои крючковатые пальцы. Она видимо наслаждалась музыкой звянящего серебра, и глаза ее светились отраженным блеском свежесвычеканенных монет. Она бормотала:

— Вот это, это и еще это! Скоро он даст и еще—столько, сколько я запрошу. Он великий раджа, он сын неба! И она будет Ранией,—все это он дал за нее. Кто и когда заплатил что-нибудь за меня? Я раба! Полно, так ли? Нет, я мать великой царицы!

Она вдруг заметила присутствие дочери и прервала свое бормотанье, резко захлопнув крышку сундука; потом, не вставая, взглянула на девушку, стоявшую подле с неопределенной мечтательной улыбкой.

— Ты видела?—пронзительно воскликнула она.—Это все мое и дано мне за тебя. Ему придется дать еще, прежде чем он увезет тебя на южные острова, где царствует его отец. Ты стоишь дороже этого, внучка раджей, дороже, дороже!

Тут с веранды послышался сонный голос Олмэйра, который приказывал замолчать. Миссис Олмэйр погасила свет и крадучись отправилась в свой угол. Найна улеглась на грудь мягких цыновок, закинула руки за голову и сквозь дыру, зиявшую в стене (эта дыра служила окном), принялась глядеть на звезды, сверкающие в темном небе. Она ждала, когда наступит для нее время отправиться к условленному месту свиданья. Она с тихим счастьем думала об этой встрече в дремучем лесу, вдали от людских взоров и речей. Душой ее снова овладели те первобытные чувства дикарки, которых гений цивилизации, действовавший на нее через посредство миссис Винк, так и не сумел искоренить. Она испытывала гордость и легкую тревогу при мысли о той высокой цене, которую ее практичная мать назначила за ее особу; но потом она вспомнила красноречивые слова и взгляды Дэйна и, успокоенная, закрыла глаза с дрожью приятного предчувствия.

Бывают случаи, когда варвар и так называемый цивилизованный человек испытывают совершенно однородные ощущения. Можно предположить, что Дэйн Марула не слишком-то восхищался своею будущей тещей и что в сущности он вовсе не одобрял пристрастия этой почтенной матроны к блестящим долларам. Но в то туманное утро, когда Бабалатчи отложил все государственные попечения и отправился

на осмотр своих вершей в ручье Буланджи, Марула не испытывал никаких опасений и вообще никаких чувств, кроме нетерпения и страсти. Он плыл к восточному берегу острова, омываемому этим ручьем. Спрятав свой челнок в кустах, он быстро побежал по острову, пробираясь сквозь чащу поросли, заслонявшей ему дорогу. Он из предосторожности не доехал до места свиданья на лодке, как Найна, а оставил свой челнок в главном рукаве реки до своего возвращения с той стороны острова. Густой, теплый туман мгновенно сомкнулся вокруг него, но он успел заметить мимолетное мерцанье огонька где-то слева—в доме Буланджи. Потом он уже ничего не мог разглядеть в густевшей дымке и если не сбился с пути, то лишь благодаря какому-то инстинкту, приведшему его на то именно место противоположного берега, куда он намеревался выйти. Течение прибило там большое бревно под прямым углом к берегу, и оно образовало как бы мостик, о который быстрая река разбивалась с громким журчаньем. Дэйн взбежал на бревно быстрым и уверенным шагом и в два прыжка очутился на дальнем конце.

У ног его пенилась и бурлила вода. Он стоял один, словно отрезанный от остального мира; небо, земля, даже самая вода, шумевшая внизу,—все это было окутано густою пеленою утреннего тумана; он прошептал имя Найны, словно бросил его в этот безбрежный простор. Он был уверен, что его услышат, он чутьем угадывал, что милая близко; он был уверен, что и она точно так же чувствует его приближение.

Челнок Найны показался около самого бревна; нос челнока высоко подымался из воды, так как Найна была на корме. Марула оперся рукою на нос и легко прыгнул в лодку, сильным движением оттолкнувшись от бревна. Повинуясь новому толчку, утлая лодочка обогнула бревно, а река с готовностью подхватила ее, повернула по течению и бесшумно повлекла между невидимых берегов. И снова Дэйн у ног Найны позабыл весь мир; подхваченный и увлеченный могучею волною несказанного волнения, порывом радости, гордости и страсти, он еще раз убеждался в том, что он не может жить без этого существа, которое он держал в своих страстных, могучих и долгих объятиях.

Найна тихо засмеялась и осторожно высвободилась из его рук.

— Ты опрокинешь лодку, Дэйн,—прошептала она.

Он с минуту жадно смотрел ей в глаза, потом со вздохом отпустил ее, растянулся на дне лодки, положил голову к Найне на колени и глядел вверх, обвинив ее стан закину-

тыми назад руками. Она нагнулась к нему, тряхнула головой, и ее длинные черные волосы рассыпались вокруг его лица.

И так они плыли по течению; он говорил со всем грубым красноречием дикой натуры, которая беззаветно отдается всепоглощающей страсти, а она слушала, низко склонившись над ним, стараясь не проронить ни одного слова. Его речи были для нее дороже самой жизни.

Для них обоих не существовало ничего за пределами тесной и хрупкой лодочки; она замыкала собою их собственный мирок, исполненный их могучей, самозабвенной любовью. Они не думали ни о сгущавшемся тумане, ни о затихшем предрассветном ветерке; они забыли о существовании окружавших их дремучих лесов и всей тропической природы, в торжественном и величавом молчании ожидавшей появления солнца.

Звезды погасли. Низко-стелющийся речной туман окутал лодку, несшую на себе молодые, страстные жизни, полные всепоглощающего счастья. Серебристо-серая мгла поднялась с востока и охватила все небо. Ветерок замер, ни один листок не шелохнулся, ни одна рыба не плеснула в воде—ничто не нарушило безмятежного покоя широкой реки. Земля, река, самое небо—все было охвачено сном, от которого, казалось, не будет пробуждения. Вся кипучесть жизни, весь размах тропической природы как-будто сосредоточился в горящих глазах, в бурно-бьющихся сердцах двух людей, плывших в челноке под пологом тумана по гладкой поверхности реки.

Вдруг большой сноп желтых лучей брызнул кверху из-за черной завесы деревьев, окаймлявших берега Пантэя. Звезды погасли, маленькие черные облачка, плывшие высоко по небу, вспыхнули на минуту алыми отблесками, и густой туман, потревоженный легким ветерком—этим вздохом пробуждающейся природы,—заклубился вереницами причудливых призраков, открывая сверкающую на солнце рябь водной поверхности. Стаи белых птиц с криком закружились над колыхающимися вершинами деревьев. Солнце взошло над восточным побережьем океана.

Дэйн первый вернулся к заботам повседневной жизни. Он приподнялся и кинул быстрый взгляд вверх и вниз по реке. Он разглядел челнок Бабалатчи позади себя и другую черную точку на искрящейся воде,—это была лодочка Тамини.

Он осторожно пробрался на нос и взялся за весло; Найна встала на корме и тоже принялась грести. Они работали, взметывая водяные брызги при каждом ударе весла,

и легкое суденышко стрелою мчалось вперед, оставляя за собою узкий след, отороченный кружевом белой сверкающей пены.

Дэйн заговорил, не оборачиваясь назад.

— Кто-то едет за нами, Найна. Нельзя подпускать лодку близко. Теперь мы еще так далеко, что нас, кажется, не узнали.

— Впереди тоже что-то виднеется,—проговорила Найна, задыхаясь, но не переставая грести.

— Я, кажется, знаю кто это,—сказал Дэйн.—Солнце слепит мне глаза, но я думаю, что это Тамина. Она каждое утро приезжает ко мне на бриг, привозит печенье, и часто остается на весь день. Впрочем, все равно. Правь ближе к берегу, мы должны подъехать к кустарнику. Здесь спрятан мой челнок, неподалеку.

Говоря это, он не сводил глаз с широколиственных нипа. Челнок летел бесшумно и стремительно, и листья деревьев то и дело задевали гребцов.

— Смотри, Найна,—сказал он наконец.—Вон там, где кончаются пальмы, над водою наклонилось дерево повисшими ветвями. Правь на большую зеленую ветку.

Он встал и стоял в выжидательной позе, а лодка медленно приближалась к берегу. Найна направляла ее умелыми и легкими движениями весла. Когда они подплыли достаточно близко, Дэйн ухватился за ветку и, отклонившись назад, протолкнул челнок под низкий зеленый свод густо-сплетенных сучьев, за которым оказалась маленькая бухточка, образованная там, где река размыла берег в последнее наводнение. Лодка Дэйна стояла здесь, привязанная к камню, и он перешел в нее, все еще держа руку на борту челнока. Обе скорлупки вместе с сидящими в них мирно покачивались бок-о-бок, отражаясь в черной воде; тусклый свет проникал к ним сквозь густую листву; а высоко над ними, в сиянии яркого дня, пылали огромные огненно-красные цветы, осыпая их дождем крупных, усеянных росой, лепестков, которые падали, медленно кружась, непрерывным и душистым потоком.

Над ними и под ними, в сонной воде, вокруг них, среди роскошной растительности, купавшейся в теплом воздухе, насыщенном сильными и пряными испарениями, шла могучая работа тропической природы. Растения буйно тянулись ввысь, свиваясь, сплетаясь в невыразимом беспорядке, бешено и грубо перекидывались друг через друга в молчаливой отчаянной борьбе за живительный блеск солнца, словно пораженные ужасом перед разлагающейся массой внизу, перед смертью и разрушением, из которых они возникли.

— Пора нам расстаться, — сказал Дэйн после долгого молчания. — Поезжай сейчас же домой, Найна, а я подожду здесь; бриг проплывет мимо, и я взберусь на него.

— А ты надолго уезжаешь, Дэйн? — тихо спросила Найна.

— Надолго ли? — воскликнул Дэйн. — Да разве согласится человек по доброй воле долго пробыть в темноте? Вдали от тебя, Найна, я подобен слепому. Что для меня жизнь без света?

Найна перегнулась к Дэйну из своего челнока и с гордой и счастливой улыбкой взяла лицо его в руки, нежно и вопросительно заглядывая ему в глаза. Повидимому, она нашла в них подтверждение его слов, потому что чувство благодарной уверенности облегчило ей тяжелую скорбь разлуки. Она верила, что ему, потомку великих раджей, сыну славного вождя, владыке жизни и смерти, солнце жизни светило лишь в ее присутствии. Могучая волна благодарности и любви хлынула навстречу ему из глубины ее сердца. Чем могла она внешне проявить свое чувство к человеку, наполнившему ее сердце такой радостью и гордостью? В смятенной страсти перед нею молнией блеснуло воспоминание о презираемой и почти забытой ею цивилизации, на которую она только взглянула во дни подневольной жизни, скорби и гнева. Под холодным пеплом этого ненавистного и злополучного прошлого она нашла знак любви, достойное выражение настоящего блаженства, залог светлого, блестящего будущего. Она обвила руками шею Дэйна и прижалась устами к его устам в долгом и пламенном поцелуе. Он закрыл глаза, удивленный и испуганный бурей, поднявшейся у него в груди от этого странного и неведомого ему доселе прикосновения, и долго еще после того, как Найна направила свой челнок по реке, он сидел неподвижно, не смея открыть глаза, боясь спугнуть упоительное наслаждение, которое ему впервые довелось испытать.

Он подумал, что ему не хватает только бессмертия, чтобы уподобиться богам; она, та, которая так умеет открывать ему двери рая, должна принадлежать ему — скоро будет принадлежать ему навеки!

Он открыл глаза как-раз в ту минуту, когда снасти его медленно приближающегося брига показались под аркой зеленых ветвей; судно направлялось к низовьям реки.

„Пора возвращаться на корабль“, — подумал он. Но ему тяжело было расставаться с местами, где он узнал, что такое счастье.

— Успеется; пускай себе плывут, — прошептал он и снова закрыл глаза под алым дождем душистых лепестков,

стараясь воскресить опять в памяти все, что он только-что пережил,—и упоение и трепет.

В конце концов он все-таки успел во-время догнать свой корабль. Потом, повидимому, у него оказалось множество дел, так как Олмэйр напрасно ожидал скорого возвращения своего друга. Из-за нижнего поворота реки, в сторону которого Олмэйр так часто и с таким нетерпением поглядывал, не показывалось никого. Только разве изредка промчится рыбачий челнок. Зато от истоков реки надвигались черные тучи, налетали ливни, предвещавшие, что скоро наступит период грозowych бурь и дождей, и реки так наполнятся водою, что туземным челнокам будет уже не под силу двигаться против течения.

Олмэйр шагал по топкому берегу реки от одного дома к другому, глядя, как постепенно вода подымалась все выше и выше, подкрадываясь к лодкам, совершенно готовым для дальнего плавания. Счастье очевидно убегало от него, и в то время, как он устало шагал назад и вперед под сплошным дождем, лившим из низких туч, им овладевало какое-то равнодушие отчаяния: не все ли равно! Такова уж видно его судьба! Эти проклятые дикари—Дэйн с Лакамбой—обещали ему помощь и своими посулами убедили его истратить последние гроши на оснастку лодок; а теперь один уехал бог весть куда, а другой заперся за своей эстакадой и не шелохнется, словно умер. „Даже негодай Бабалатчи,—думал Олмэйр,—и тот глаз не кажет с тех пор, как они сбыли ему весь рис, все медные гонги и ткани, необходимые для экспедиции. Они высосали из него все до последнего цента, и теперь им все равно, уедет он или останется!“

И, безнадежно махнув рукою, Олмэйр медленно взбирался на веранду дома, чтобы укрыться от дождя. Там, опершись на балюстраду, подняв плечи и уныло свесив голову, он предавался горьким размышлениям, не замечая времени, не чувствуя голода, не слыша пронзительных криков жены, звавшей его ужинать. Наконец, первые раскаты вечерней грозы вывели его из печальной задумчивости, и он медленно направился к мерцающему огоньку своего старого дома; но и тут упрямо-теплившаяся надежда сверхъестественно обостряла его слух и делала его восприимчивым к малейшему звуку на реке. Несколько вечеров подряд ему чудился плеск весел и мерещились туманные очертания большой лодки; но когда он окликал смутный призрак, а сердце его начинало биться сильнее в надежде, что вот-вот раздастся голос Дэйна, его каждый раз постигало разочарование;

в ответ на его окрик ему угрюмо сообщали, что это арабы плывут навестить домоседа Лакамбу.

Много ночей провел Олмэйр без сна, стараясь угадать, какую подлость готовят ему эти почтенные господа. Наконец, когда не оставалось уже как-будто ни малейшей надежды, он был безумно обрадован, услышав голос Дэйва. Но Дэйн чрезвычайно спешил повидаться с Лакамбой, и Олмэйр сначала было встревожился, потому что в нем издавна укоренилось глубокое недоверие к намерениям этого правителя по отношению к нему. Но как бы то ни было, а Дэйн все-таки вернулся назад. Очевидно, он не собирался нарушать договор. Надежда вновь ожила, и Олмэйр крепко зашнул в ту ночь, а Найна тем временем стояла и смотрела, как сердитая река, подгоняемая грозой, несла свои воды к морю.

ГЛАВА VI

Расставшись с Олмэйром, Дэйн поспешно переправился через реку.

Он пристал к шлюзам эстакады, окружавшей резиденцию самбирского раджи; к эстакаде прилежала целая группа домов. Там, видимо, кого-то ждали, потому что ворота были распахнуты настежь, и толпа факельщиков держалась наготове, чтобы вести гостя по доскам пологого ската, который вел к главному дому, обиталищу самого Лакамбы, где неизменно вершались все государственные дела. В остальных постройках усадьбы помещались многочисленные жены и домочадцы правителя.

Дом Лакамбы представлял собою прочное здание из крупного теса, стоявшее на высоких столбах. Вокруг всего дома шла веранда из расколотого бамбука. Вся постройка была увенчана чрезвычайно высокой и крутой крышей из пальмовых листьев, покоившейся на балках, почерневших от копоти факелов.

Дом стоял параллельно реке. Одна из продольных стен его приходилась как раз против шлюза. В узкой части дома, обращенной к верховью реки, находилась дверь, к которой вел пологий скат, начинавшийся от самых ворот. При трепетном мерцании дымных факелов Дэйн заметил справа смутные очертания вооруженных людей. От этой группы отделился Бабалатчи, чтобы открыть ему дверь, и Дэйн вошел в приемный покой дворца. Этот покой занимал приблизительно треть всего дома; от остальных помещений его отделяли тяжелые занавесы европейской выделки. Вплотную к ним было придвинуто большое кресло из какого-то черного дерева, все покрытое резьбой; перед ним стоял грубый сосновый стол. Больше в комнате не было никакого убранства, кроме множества цыновок. Налево от входа стояли грубые ружейные козлы, а на них—три винтовки с примкнутыми штыками. Вдоль стены, в тени, телохранители Лакамбы—все друзья или родственники—спали вповалку, являя собою целую кучу коричневых рук, ног и ярко расцветченных платьев; из этой кучи по временам раздавался храп или тревожный

стон. Европейская лампа под зеленым абажуром стояла на столе и позволяла Дэйну разглядеть все подробности.

— Милости прошу отдохнуть,—сказал Бабалатчи, вопросительно глядя на Дэйна.

— Мне нужно сейчас же переговорить с раджей,—отвечал Дэйн.

Бабалатчи жестом изъяснил согласие и повернулся к висевшему под ружейными козлами медному гонгу, чтобы дважды сильно ударить в него.

Оглушительный звон разбудил стражу. Храп прекратился, вытянутые ноги втянулись; вся груды зашевелилась и медленно оформилась в отдельные тела; это превращение сопровождалось долгими зевками и протираaniem сонных глаз; за занавеской раздался взрыв женской болтовни; наконец послышался басистый голос Лакамбы.

— Что это? Арабский купец, что ли?

— Нет, Тюан,—отвечал Бабалатчи.— Это Дэйн наконец вернулся. Он пришел по важному делу, бит чарра—если будет твоя милость его выслушать.

Очевидно у Лакамбы была на то милость, потому что немного погодя он вышел из-за занавески; но милости его не хватило на то, чтобы основательно заняться своим туалетом. Его единственную одежду составлял короткий красный саронг, наскоро обмотанный вокруг бедер. Милостивый повелитель Самбира имел заспанный и хмурый вид. Он уселся в кресло, широко расставил ноги, облокотился на ручки кресла, подбородок опустил себе на грудь, тяжело дыша и с видимым недоброжелательством ожидая, чтобы Дэйн сам объяснил свое важное дело.

Но Дэйн не спешил. Он не отрываясь смотрел на Бабалатчи, который удобно прикурнул у ног своего господина, и молчал, склонив голову, как бы ожидая слов мудрости.

Бабалатчи деликатно откашлялся и, нагнувшись вперед, пододвинул Дэйну несколько цыновок для сиденья, а затем скрипучим голосом принялся горячо и словоохотливо уверять его во всеобщем ликовании по случаю его давно-желанного возвращения. Сердце Бабалатчи алкало лицезрения Дэйна, уши иссохли и жаждали освежающего звука его голоса. Если верить Бабалатчи, то сердце и уши всех и каждого находились в том же плачевном состоянии; при этих словах он широким жестом указал на противоположный берег, где поселок мирно дремал, не подозревая, что завтра, проснувшись, он испытает такую великую радость.

— Ибо,—продолжал Бабалатчи,—ибо что же и радует сердца бедняков, как не щедрость великодушного купца или могущественного...

Тут он резко оборвал свою речь с рассчитанно-смущенным видом, и бегающий глазок его стал егозить по полу, а на изуродованных губах мелькнула виноватая улыбка. Раз два в течение этой речи по лицу Дэйна пробежало такое выражение, как будто эта речь забавляет его, но скоро это выражение уступило место кажущейся серьезности. Лакамба мрачно хмурился, а губы его гневно шевелились под разглагольствований его первого министра. В молчаньи, наступившем после вступительного слова Бабалатчи, раздался хор разнообразных всхрипываний из того угла, где стража вновь предалась покою после прерванного сна. Издалека доносились раскаты грома, наполнявшие в это время сердце Найны тревогой за судьбу ее возлюбленного, но прошедшие совершенно незаметными для трех собеседников, из которых каждый был занят глубоко тревожными мыслями.

После короткого молчания Бабалатчи снова заговорил, пренебрегая на этот раз цветами придворного красноречия, заговорил вполголоса, отрывисто и торопливо. Они очень тревожились. Почему Дэйн так долго находился в отсутствии? Люди с низовьев реки слышали пушечную пальбу и видели военный корабль голландцев среди островов устья. Поэтому они здесь сильно беспокоились. Несколько дней тому назад до Абдуллы дошли слухи о какой-то катастрофе, и с тех пор они с мрачными предчувствиями ожидали возвращения Дэйна. Много дней подряд они засыпали в страхе и просыпались в тревоге и целый день дрожали, как дрожат перед лицом неприятеля. И все это из-за него, из-за Дэйна. Они тревожатся не о себе, а о нем. Неужели он не рассеет их опасений. Они живут мирно, они верны и преданы великому радже Батавии,—да ниспошлет ему судьба победу на радость и благоденствие его рабов!

—А здесь,—продолжал Бабалатчи,—повелитель мой Лакамба изнывал в тревоге за купца, которого он взял под свое покровительство; так же волновался Абдулла, потому что неизвестно еще, что бы стали говорить злые люди, если бы вдруг...

—Замолчи, дурак,—сердито зарычал Лакамба.

Бабалатчи умолк с довольной улыбкой; Дэйн все время как зачарованный смотрел на него; теперь он с облегчением вздохнул и обернулся к правителю Самбира. Лакамба не пошевелился; не подымая головы, он исподлобья глядел на Дэйна, тяжело дыша и надув губы с недовольным видом.

— Говори, о Дэйи,—вымолвил он наконец.—До нас доходили всевозможные слухи. Много ночей под ряд мой друг Решид являлся сюда с дурными вестями. Новости быстро облетают побережье, но они могут быть и неверны; уста людей более лживы теперь, чем когда я был молод, но меня все так же трудно обмануть, как и тогда.

— Все мои слова правдивы,—небрежно отозвался Дэйи.—Если ты хочешь знать, что случилось с моим бригом, я скажу тебе, что он в руках у голландцев. Поверь мне, раджа,—продолжал он с неожиданным приливом энергии,—у оранг-бланда ¹⁾ есть верные друзья в Самбаре, иначе как бы было узнать, что я плыву отсюда?

Лакамба быстро и враждебно покосился на Дэйна. Бабалатчи потихоньку поднялся и, подойдя к ружейным козлам, сильно ударил в гонг.

Шарканье босых ног послышалось за дверью; в самой комнате стража тоже проснулась и села, оглядываясь с сонным недоумением.

— Да, верный друг белого раджи,—продолжал Дэйи презрительно обращаясь к Бабалатчи, вернувшемуся на свое место,—я спасся и прибыл сюда, чтобы порадовать твое сердце. Когда я увидел голландское судно, я направил бриг на подводные камни и выбросился на берег. Враги не посмели гнаться за мною на корабле и выслали шлюпки. Мы тоже спустили лодки и пытались бежать, но корабль осыпал нас огнем и убил у меня много людей. Но я уцелел, о, Бабалатчи! Голландцы скоро будут здесь. Они ищут меня. Они приедут и спросят своего верного слугу Лакамбу и раба его Бабалатчи. Радуйся же!

Но слушатели его отнюдь не были расположены радоваться. Лакамба закинул одну ногу на другую и медленно почесывал ее с задумчивым видом, а Бабалатчи сидел скрестив ноги и вдруг весь как-то съежился, зачих и неподвижно, тупо уставился взглядом в одну точку. Телохранители начали проявлять некоторый интерес к происходящему; каждый вытянулся во весь рост на полу, чтобы быть поближе к собеседникам. Один из них поднялся на ноги, прислонился к ружейным козлам и рассеянно играл бахромою на рукояти своего меча.

Дэйи переждал, покуда прокатившийся в эту минуту удар грома не замер вдали; потом он снова заговорил:

— Не онемел ли ты, о владыка Самбира? Или, может статься, сын великого раджи недостойн твоего внимания?

¹⁾ Т. е. у голландцев, (см. стр. 38).

Я пришел сюда искать прибежища и остеречь тебя, и хочу знать, что ты намерен делать.

— Ты пришел сюда ради дочери белого человека, — быстро отозвался Лакамба. — Какого тебе еще нужно убежища, кроме дома отца твоего, балийского раджи, сына неба, самого Анак-Агонга? Кто я, чтобы оказывать покровительство могущественным князьям? Вчера еще я сеял рис на лесном пожарище, а сегодня ты говоришь, что твоя жизнь в моих руках.

Бабалатчи взглянул на своего господина.

— Ни один человек не уйдет от судьбы, — набожно прошептал он. — Когда входит в сердце человека любовь, он становится безрассуднее ребенка. Будь же милостив, Лакамба, — прибавил он, предостерегающе дергая Лакамбу за край саронга.

Лакамба сердито вырвал у него полу саронга. Он начинал понимать, в какое неопишемое затруднение ставило его возвращение Дэйна в Самбир и под влиянием этой мысли терял остатки самообладания, которые еще кое-как сохранял до сих пор. Его зычный голос покрывал рычание шквала, пронесившегося над домом с ветром и шумом дождя.

— Ты явился сюда под личиной купца, медовыми речами и посулами уговорил не мешать тебе обойти белолицего. Я так и сделал. Чего же ты хочешь? Пока я был молод, я сражался; теперь я стар и хочу только покоя. Не могу я воевать с голландцами. Мне легче распорядиться, чтобы убили тебя, да оно и лучше для меня.

Порыв бури пронесся мимо, и среди наступившего короткого затишья Лакамба тихо, как бы про себя, повторил: „Гораздо легче! Гораздо лучше!“

Повидимому, Дэйн не слишком испугался угроз Лакамбы. Покуда тот говорил, он поспешно оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что сзади никого нет; успокоившись, он вытащил табакерку из складок своего кушака и принялся тщательно заворачивать кусочек бетеля и щепотку растительного клея в зеленый лист, учтиво поданный ему внимательным Бабалатчи.

Он истолковал этот поступок как предложение мира со стороны безмолвного сановника, как своего рода протест против недипломатичной резкости его господина, как признак того, что им удастся столковаться между собою. Впрочем, Дэйн не особенно беспокоился. Хотя он не мог не признавать, что Лакамба прав, что он действительно вернулся в Самбир ради дочери белого человека, но тем не менее не сознавал за собою ребяческого недомыслия,

на которое намекал Бабалатчи. Дэйн знал, что Лакамба был слишком сильно замешан в контрабандной торговле порохом и что поэтому расследование дела голландскими властями не могло его радовать. Когда отец его, независимый балийский раджа, послал сына за порохом, то столкновения голландцев с малайцами грозили распространиться по всему архипелагу, начиная с Суматры. В то время все крупные купцы остались глухи к его осторожным предложениям и не прельстились крупными суммами, которые он готов был платить за порох. Он прибыл в Самбир напоследок, как в самое безнадежное место; в Макассаре он узнал, что там живет белолицый человек и что оттуда есть правильное пароходное сообщение с Сингапуром; его привлекало и то, что на реке не было голландских властей, а это, разумеется, должно было значительно облегчить дело. Его надежды чуть было не рухнули окончательно, столкнувшись с упрямой долейностью Лакамбы, проистекавшей из соображений хорошо понятого личного интереса. Однако щедрость молодого человека, его убедительный энтузиазм, простиж громкого имени его отца поколебали наконец осторожную нерешимость самбирского правителя. Лакамба отказался принять личное участие в какой-бы то ни было недозволенной торговле; он также воспротивился тому, чтобы к делу был привлечен кто-либо из арабов; но он указал на Олмэйра, как на человека слабого, легко поддающегося убеждениям; кроме того, он намекнул, что его друг англичанин, капитан парохода, тоже может оказаться полезным человеком: по всей вероятности, он согласится перевозить на пароходе порох без ведома Абдуллы. Тут Дэйн опять встретил неожиданный отпор со стороны Олмэйра; Лакамбе пришлось послать к нему Бабалатчи с торжественным обещанием, что Лакамба будет слеп из дружбы к белому человеку; за обещание и за дружбу Дэйн заплатил звонкими серебряными гульденами ненавистных оранг-бланда. Наконец Олмэйр согласился; он сказал, что порох достать можно, но что Дэйн должен снабдить его долларами, которые он перешлет в Сингапур в уплату за товар. Он взялся уговорить Форда закупить порох и контрабандой переправить с парохода на бриг. Он не выговорил себе никакого денежного вознаграждения за это, но потребовал, чтобы Дэйн помог ему в его большом предприятии после того, как отошлет бриг. Олмэйр объяснил Дэйну, что не мог положиться в этом деле на одного Лакамбу. Он опасался корыстолюбия раджи, боялся, как бы тот не посягнул и на его жизнь, и на его имущество. Но раджу все-таки

пришлось привлечь к делу, — он пожелал войти в качестве участника; он объявил, что в противном случае не станет покрывать его. Олмэйр принужден был покориться. Если бы Дэйи не встретился с Найной, он, вероятно, отказался бы участвовать со своими людьми в экспедиции на Гунонг-Масна — золотую гору. При настоящем же положении дела он собирался вернуться с половиной своей команды, как только бриг благополучно минует все рифы; но упорное преследование голландского фрегата заставило его направиться к югу и в конце концов уничтожить свое судно ради спасения свободы и даже, может быть, самой жизни. Да, он вернулся в Самбир ради Найны, хотя и знал, что голландцы будут искать его там; но в то же время он точно рассчитал, что будет в безопасности у Лакамбы. Несмотря на свирепые речи, милостивый властелин не убьет его, потому что Дэйи знает тайну клада белого человека; точно так же он не выдаст его голландским властям из опасения, как бы тогда не раскрылось собственное его участие в незаконной торговле. Поэтому Дэйи чувствовал себя в сравнительной безопасности и спокойно обдумывал свой ответ на последние слова Лакамбы. Да, он укажет радже, что тому плохо придется, если он, Дэйи, попадет в руки голландцев и расскажет им всю правду. Ему уже нечего будет терять, и он не станет лгать. Да наконец — пусть возвращение в Самбир и нарушило спокойствие Лакамбы! Он — Дэйи — приехал за тем, что ему принадлежит по праву. Не даром же он излил целый поток серебра в жадные руки миссис Олмэйр! Да, он по-княжески заплатил за эту девушку, хотя и это — слишком малая плата за красавицу, которая вскружила ему голову; его необузданная душа томилась по девушке с такою силой желания, которая была мучительнее самой жестокой боли. Он хотел своего счастья. Он имел право быть в Самбире!

Он встал, подошел к столу и оперся на него обими локтями. Лакамба в ответ пододвинул свой стул поближе, а Бабалатчи поднялся на ноги и просунул свою любопытную голову между их головами. Они быстро обменивались мыслями, шептались, прямо в лицо друг другу, — так тесно сблизилась они между собою. Дэйи предлагал, Лакамба возражал, Бабалатчи уговаривал и примирял. Он сильно опасался предстоявших затруднений. Он говорил больше всех, серьезным шопотом, медленно поворачивая голову то в ту, то в другую сторону, по очереди устремляя на собеседников свой единственный глаз. — Зачем ссориться? — говорил он. — Пускай Тюан Дэйи, которого он любит лишь немногим меньше

своего господина,—пускай Тюан Дэйи с полным доверием укроется там, где ему укажут. Таких мест найдется много. Самым подходящим будет, пожалуй, дом, Буланджи на дальней поляне. Буланджи—человек надежный. Ни один белолицый не проберется туда по запутанной сети каналов. Белые люди сильны, но глупы. Вооруженная борьба с ними нежелательна; зато их легко обмануть. Они подобны глупым женщинам, у них нет разума, и я любого из них проведу и одурачу,—продолжал Бабалатчи с простодушной уверенностью. —Вероятно, голландцы будут искать и Олмэйра. Может быть, они увезут с собою своего соотечественника, если он покажется им подозрительным. Вот это было бы прекрасно! После отъезда голландцев Дэйи и Лакамба без труда овладели бы сокровищем,—а одним пайщиком было бы меньше. Разве он не прав и не мудры слова его? Согласен ли Тюан Дэйи немедленно отправиться в дом Буланджи, пока не минует опасность?

Дэйи согласился спрятаться, сознавая, что до известной степени оказывает этим милость Лакамбе и встревоженному министру, но на предложение отправиться в путь сейчас же—ответил решительным отказом, при чем значительно посмотрел в глаза Бабалатчи. Тот вздохнул как человек, примиряющийся с неизбежным, и молча указал рукой на противоположный берег реки. Дэйи медленно наклонил голову.

— Да, я отправляюсь туда,—молвил он.

— Еще до рассвета?—спросил Бабалатчи.

— Немедленно же,—решительно отвечал Дэйи,—оранг-бланда едва ли прибудет сюда раньше завтрашнего вечера, а я должен предупредить Олмэйра о наших решениях.

— Нет, Тюан, нет; не говори ему ничего,—запротестовал Бабалатчи.—Я сам съезжу к нему на заре и скажу ему все.

— Хорошо, я посмотрю,—сказал Дэйи, собираясь уходить.

На дворе гроза усиливалась, тучи низко нависли над домом. Гром непрерывно грохотал в отдалении; более близкие удары его рассыпались оглушительным треском. В переменной игре голубых молний лес и река вырисовывались по временам со всей обманчивой ясностью деталей, которые так характерны во время грозы. Выйдя из дома, Дэйи и Бабалатчи остановились на дрожащей веранде; их ослепила и поразила ярость бури. Вокруг них скорчились в разнообразных позах рабы и домочадцы раджи, укрытые от дождя на веранде. Дэйи окликнул своих гребцов; те отозвались дружным „Ада! Тюан!“—но с беспокойством поглядывали на реку.

— Настоящий потоп!—крикнул Бабалатчи на ухо Дэйну.— Как беснуется река! Посмотри! Посмотри на плывучие бревна! Разве можно тебе ехать?

Дэйн колебался, глядя на мутный простор бушующей воды, ограниченной где-то там вдали тонкой чертой леса. Но при внезапной вспышке яркого белого света вдруг выступил из мрака низкий берег с шатающимися деревьями и домом Олмэйра, задрожал, мелькнул в глазах и пропал. Дэйн оттолкнул Бабалатчи и бегом бросился к пристани, а за ним—его дрожащие гребцы.

Бабалатчи медленно подался назад, запер двери, потом обернулся и молча воззрился на Лакамбу. Раджа сидел неподвижно и, не мигая, каменным взглядом смотрел на стол. Бабалатчи видел, что он растерялся, и с любопытством глядел на него.

В диком испорченном сердце кривого сановника несомненно шевельнулось сочувствие и даже, может быть, жалость к тому, кого он называл своим господином, кому служил столько лет и в черные и в светлые дни. Теперь он важное лицо, ближайший советник своего повелителя, но сквозь дымку прошлого он видел себя—случайного убийцу,—нашедшего приют под кровом этого человека на скромной рисовой плантации, с которой тот начал свою карьеру. Потом настала пора—долгая пора—неизменных удач, мудрых советов, глубоко продуманных замыслов, решительно осуществленных бесстрашным Лакамбой; все восточное побережье страны, от Пумо-Лаута до Танийонг-Бату, прислушивалось к речам мудрого Бабалатчи, вещавшего устами самбирского властелина. За эти долгие годы—скольких опасностей он избежал, скольких врагов мужественно встретил лицом к лицу, скольких белолицых обошел и обманул! И вот теперь он видит перед собою плод долголетних терпеливых трудов: бесстрашного Лакамбу, подавленного ужасом перед призраком надвигающейся опасности! Положительно, правитель начинает дряхлеть, и сам Бабалатчи вдруг ощутил какое-то странное чувство под ложечкой и прижал обе руки к этому месту с живым и скорбным сознанием того, что ведь и он тоже дряхлеет, что для них обоих навсегда миновала пора беззаветной удали и что теперь им остается искать прибежища в осторожной хитрости. Они жаждали только покоя; они готовы были исправиться, даже ограничить себя во всем, лишь бы обеспечить себя на черный день, лишь бы отдалить, елико возможно, от себя этот черный день. Бабалатчи опять вздохнул—во второй раз за эту ночь,—покуда усаживался у ног своего господина и с мол-

чальвым сочувствием протягивал ему свою табакерку с бетелем. И долго сидели они в немой, но тесной близости—сидели и жевали бетель, медленно двигая челюстями, чинно поплеывая в широкогорлый медный сосуд, который они передавали друг другу, и прислушиваясь к ужасающему реву бури на дворе.

— Там большое наводнение, — печально заметил Бабалатчи.

— Да, — сказал Лакамба. — Неужели Дэйнь не остался?

— Нет, Тюан. Он сбежал к реке как одержимый шейтаном.

Наступила новая продолжительная пауза.

— Он, может быть, утонет, — предположил наконец Лакамба не без оживления.

— Пловучих бревен много на реке, — ответил Бабалатчи. — Но он хорошо плавает, — прибавил он нехотя.

— Ему бы не следовало погибать, — сказал Лакамба. — Он знает, где клад.

Бабалатчи с сердцем проворчал что-то в подтверждение этих слов. То, что ему не удалось проникнуть в тайну белого человека, было большим местом самбирского сановника, единственной неудачей в его блестящей карьере.

Глубокое затишье сменило теперь тревогу бури. Только запоздалые тучки, спешившие в вышине вдогонку за главным облаком, молчаливо сверкавшим вдаль, проливали еще короткие дожди, с успокоительным шелестом барабанившие по пальмовой крыше.

Лакамба стряхнул с себя апатию с таким видом, как будто ему наконец удалось уяснить себе положение дела.

— Бабалатчи! — весело окликнул он его и даже слегка толкнул ногой.

— Ада Тюан! Я слушаю.

— Как ты думаешь, Бабалатчи, что сделает Олмэйр, если оранг-бланда придут сюда и увезут его в Батавию в наказание за торговлю порохом?

— Не знаю, Тюан.

— Ты дурак, — объявил ликующий Лакамба. — Он скажет им, где находится клад, чтобы заслужить помилование. Вот что он сделает.

Бабалатчи поднял взор на своего повелителя и кивнул головой с унылым изумлением. Об этом он не подумал. Получилось новое осложнение.

— Олмэйр должен умереть и тем сохранить нашу тайну, — решительно объявил Лакамба. — Он должен умереть без шума. Позаботься об этом.

Бабалатчи согласился и устало поднялся на ноги.

— Завтра?—спросил он.

— Да, куда голландцы еще не приехали.

— Он много пьет кофе,—отвечал Лакамба с видимой непоследовательностью.

Бабалатчи потянулся и зевнул, но Лакамбу чрезвычайно оживило лестное сознание того, что он собственным своим умом разрешил трудный вопрос.

— Бабалатчи,—сказал он измученному сановнику,—принеси сюда музыкальный ящик, подаренный мне белым капитаном. Мне не спится.

Тень глубочайшего уныния легла на черты Бабалатчи при этом приказании. Он нехотя отправился за занавеску и скоро вернулся, неся маленький ручной органчик, который поставил на стол с глубоко огорченным видом. Лакамба уселся поудобнее на своем кресле.

— Верти, Бабалатчи, верти,—пробормотал он, закрыв глаза.

Бабалатчи с энергией отчаяния взялся за ручку, и, пока он вертел ее, мрачное выражение его лица уступило место безнадежной покорности. Музыка Верди лилась сквозь открытые ставни и среди царившей тишины разносилась над рекой и лесом. Лакамба слушал, закрыв глаза, и блаженно улыбался; Бабалатчи вертел ручку, по временам начиная клевать носом, после чего он всегда испуганно вскидывался и несколько раз подряд торопливо поворачивал ручку, чтобы наверстать упущенное. После яростной схватки, природа покоилась в глубоком изнеможении, а под невероятной рукой самбирского сановника „Трубадур“ порывисто рыдал, стонал и без конца прощался со своей Леонорой в скорбном кругу нескончаемых и слезливых повторений.

ГЛАВА VII

Яркое сияние безоблачного и ясного утра сменило ночную непогоду и озарило главную улицу поселка, пролегавшую от ворот усадьбы Абдуллы до низкого берега Пантэйского протока.

Улица в то утро была совершенно пустынна. Ее желтая поверхность, плотно утоптанная бесчисленным множеством босых ног, тянулась между группами пальмовых деревьев; их высокие стволы пересекали ее черными широкими полосами через неровные промежутки, а только-что взошедшее солнце отбрасывало тень их перистых вершук далеко за крыши домов на берегу реки, даже за самую реку, безмолвно и быстро струившуюся мимо опустелых домов потому что дома были так же безлюдны, как и улица. Утренние костры, разведенные на узкой полосе вытоптанной травы, отделявшей их открытые двери от дороги, беспризорно тлели; тонкие струйки дыма вились над ними в прохладном воздухе и обволакивали безлюдное селение тончайшим покровом таинственной голубой дымки. Олмэйр только-что вылез из своего гамака и сонно присматривался к необычному виду Самбира, смутно дивясь окружавшей его безжизненности.

В его собственном доме тоже царил полнейшая тишина. Не слышно было ни голоса его жены, ни легких шагов Найны в большой комнате, выходившей на веранду, которую он называл своей гостиной, когда в разговоре с белыми людьми хотел заявить свои права на приличную культурную обстановку. Никто никогда не принимал гостей в этой комнате; там даже не на чем было бы усадить их; в припадках дикого исступления, находивших на миссис Олмэйр при волновавших ее воспоминаниях разбойничьего периода ее жизни, она давно уже сорвала со стен драпировки на саронги для невольниц, а нарядную мебель сожгла поштучно, чтобы варить рис для всего дома. Но Олмэйр уже не думал больше о своей мебели. Он думал о возвращении Дэйна, о ночном его свидании с Лакамбой, о возможном влиянии этого свидания на его собственные, зрело обдуманные, близкие к осуществлению планы. Его тревожило еще и то

обстоятельство, что Дэйн не являлся, хотя и обещал прийти спозаранку. „Молодой человек двадцать раз мог переплыть реку, — размышлял он. — А дела нынче без конца. Надо переговорить окончательно насчет завтрашнего отъезда, насчет спуска лодок на воду; надо обсудить тысячу и одну последнюю мелочь. Экспедиция должна выступить в полном порядке, ничто не должно быть забыто, ничто не должно быть...“

Его вдруг осенило сознание непривычной тишины; под влиянием этого необыкновенного молчания он поймал себя на том, что жаждет услышать звук голоса своей жены, столь неприятный ему в обычное время, лишь бы только нарушилась эта гнетущая тишина; его испуганной душе казалось, что эта тишина предвещает какое-то новое несчастье. — Что случилось? — сказал он вполголоса и зашаркал своими спадающими туфлями к балюстраде веранды.

— Спят все или умерли, что ли?

Но поселок был жив и чрезвычайно далек от сна. Он пробудился ранним утром, в ту минуту как Махмуд Банджер в приливе небывалой энергии поднялся с постели, захватил топор, перешагнул через тела обеих своих спящих жен и дрожа направился к реке взглянуть, не снесло ли за ночь водою начатый им новый дом.

Предприимчивый Махмуд строил дом на большом плоту. Он привязал его в заливишке, образованном илистой косою у самого слияния обоих рукавов Пантэя, чтобы обезопасить от пловучих деревьев, которые несомненно должно было выкинуть бурей на косу. Махмуд шагал по мокрой траве, фыркал от холода и вполголоса проклинал суровые требования трудовой жизни, выгнавшие его с теплой постели на утренний холод. С первого же взгляда он убедился, что дом на месте, и похвалил себя за предусмотрительность, с которою он уберег его от беды, ибо в прибывающем свете утра он увидал беспорядочную груду сплавного леса, выброшенного на низкий берег. Бревна сгрудились в бесформенный плот, переплелись ветками и метались из стороны в сторону, сталкиваясь между собою в водовороте, образованном встречным течением обоих рукавов реки. Махмуд спустился к воде, чтобы осмотреть раттановые привязи своего дома в то мгновение, когда солнце осветило деревья на противоположном берегу. Нагибаясь к канатам, он снова рассеянно взглянул на толкущиеся бревна и увидал там нечто такое, что заставило его отбросить свой топор и выпрямиться, закрыв глаза рукой от лучей восходящего солнца. В реке лежало что-то красное, и бревна перекатывались через этот странный предмет, то собираясь вокруг него, то совер-

шенно скрывая его. Сначала ему показалось, что это просто кусок красной ткани, но через минуту Махмуд уже явственно разглядел, в чем дело, и поднял громкий крик:

— Эй-а! Эй вы там!—кричал Махмуд.—Здесь человек попал под бревно!

Махмуд приложил ладони ко рту в виде трубы, обернулся в сторону поселка и закричал, раздельно произнося слова:

— Тут утопленник! Идите, посмотрите! Мертвец—чужой!

Женщины из ближайшего дома уже хлопотали на улице, раскладывали костер и толкли рис. Они пронзительно подхватили крик, и он понесся от дома к дому, замирая в отдалении. Мужчины, взволнованные, молча ринулись из домов к грязной отмели, где бесчувственные бревна метались, толклись, прыгали и перекатывались над телом незнакомца с тупым упорством неодушевленных предметов. Следом за мужчинами устремились и женщины, бросив свои домашние дела и рискуя нажить семейные неприятности, а за ними побежала весело болтающая толпа ребятишек, восхищенных неожиданным праздником.

Олмэйр громко окликнул жену и дочь, но не получил ответа и остановился, внимательно прислушиваясь. До него долетел слабый отголосок гула толпы и принес с собою уверенность в каком-то необыкновенном происшествии. Он собрался было покинуть веранду, но взглянул на реку и остановился при виде крошечной лодочки, переправлявшейся через нее от пристани раджи. Одинокий человек, сидевший в лодке,—Олмэйр скоро узнал Бабалатчи,—переплыл реку несколько ниже дома и пристал к Лингардовским мосткам в спокойной полосе воды у берега. Бабалатчи медленно выкарабкался на берег и с мелочной заботливостью принялся привязывать свой челнок, как бы вовсе не торопясь подойти к Олмэйру, смотревшему на него с веранды. Эта медлительность позволила Каспару заметить официальный наряд Бабалатчи—и удивиться ему. Самбирский вельможа был облечен в подобающие его высокому сану одежды. Через левое плечо и обнаженную грудь почтенного дипломата перекинут был блестящий ремень с медной бляхой, на которой красовался нидерландский государственный герб с надписью: „Султан самбирский“. Голова Бабалатчи была обвита красным тюрбаном; бахромчатые концы его спадали вдоль левой щеки на левое плечо и придавали его старческому лицу комичное выражение бесшабашной удали. Когда он наконец остался вполне доволен тем, как привязал свою лодку, он выпрямился, отряхнул складки своего саронга и

большими шагами направился к дому Олмэйра, мерно выставляя вперед свой посох из черного дерева; золотой набалдашник, украшенный драгоценными камнями, сверкал при этом на утреннем солнце. Олмэйр замахал рукою в сторону отмели, которой сам разглядеть не мог, но которую хорошо было видно от пристани.

— Ой-го, Бабалатчи, ой-го! — закричал он. — Что там такое? Не видно тебе?

Бабалатчи остановился и стал пристально вглядываться в толпу, собравшуюся на берегу; через мгновение он, к изумлению Олмэйра, свернул с дорожки, подобрал свой саронг и рысью пустился по траве в сторону отмели. Охваченный в свою очередь любопытством, Олмэйр сбежал со ступеней веранды. До него теперь уже явственно доносился гул мужских голосов и звонкие крики женщины, а, как только он обогнул угол своего дома, он увидел толпу на берегу, волновавшуюся вокруг какого-то интересовавшего ее предмета. Он смутно различил голос Бабалатчи, потом толпа раздвинулась перед престарелым сановником и вновь сомкнулась за ним. Гул перешел в громкий крик.

Когда Олмэйр подходил к толпе, от нее отделился человек и бросился бежать в сторону поселка, не обращая внимания на его окрик. Напрасно Олмэйр просил человека остановиться и объяснить причину его возбуждения. Приблизившись к толпе, Олмэйр был остановлен неподатливой людскою массой, не внимавшей его просьбам расступиться, нечувствительной к легким толчкам, с помощью которых он пытался протиснуться к берегу.

Пока он медленно и осторожно пробивался сквозь толпу, ему вдруг почудилось, будто в самой гуще ее раздается голос его жены. Он не мог не узнать крикливого тембра миссис Олмэйр, но самых слов ее он не понял — так они были неясны. Он на минуту оставил свои попытки пробраться вперед и собирался расспросить окружающих, как вдруг долгий и пронзительный вопль поколебал воздух, заглушая рокот толпы и голоса его собеседников. На мгновение Олмэйр окаменел на месте от ужаса и неожиданности, потому что теперь ему стало вполне ясно, что жена его причитает над покойником. Он вспомнил странное отсутствие Найны — и, обезумев от страха за нее, слепо и бурно ринулся вперед, а толпа с криками боли и удивления расступилась перед его бешеным натиском.

На небольшом свободном пространстве на берегу лежало тело незнакомца, только-что вытащенное из-под бревен. По одну его сторону стоял Бабалатчи, опираясь подбород-

ком на набалдашник своего посоха; его единственный глаз пристально вглядывался в бесформенную грудку раздробленных рук и ног, растерзанного мяса и окровавленных лохмотьев. В ту минуту, как Олмэйр прорвался сквозь кольцо пораженных ужасом зрителей, миссис Олмэйр набросила свое головное покрывало на обращенное кверху лицо покойника и, присев рядом с ним на корточки, издала новый скорбный вопль, заставивший содрогнуться замолкнувшую теперь толпу. Насквозь промокший Махмуд обратился к Олмэйру, желая и ему повторить свою повесть.

Олмэйр был так испуган, что солнце на мгновение померкло перед ним, и он слушал то, что ему говорили, не понимая ни слова. Когда же ему наконец удалось пересилить себя и опомниться, то услышал, что Махмуд говорит:

— Вот как это было, Тюан. Его саронг зацепился за сломанный сук, и он повис в воде вниз головой. Когда я увидел, что это такое, я не хотел оставлять его здесь. Я хотел отцепить тело для того, чтобы оно могло уплыть куда-нибудь в другое место. Зачем мы будем хоронить какого-то чужестранца вблизи своих жилищ? Для того ли, чтобы его призрак приходил пугать наших жен и детей? Разве мало у нас своих собственных призраков?

Здесь его речь была прервана одобрительным говором. Махмуд укоризненно посмотрел на Бабалатчи.

— Но Тюан Бабалатчи приказал мне вытащить тело на берег,—продолжал он, оглядывая всех слушателей, но обращаясь к одному только Олмэйру,—и я вытащил его за ноги; я тащил его по грязи, хотя сердце мое жаждало видеть, как оно поплывет по реке и, может быть, пристанет к участку Буланджи,—да осквернит кто-нибудь могилу его отца!

Подавленный смех раздался в ответ на эти слова, ибо вражда Махмуда с Буланджи всем была известна и представляла неувядаемый интерес для жителей Самбира. В самый разгар веселья миссис Олмэйр вдруг снова заголосила.

— Аллах! Что такое с этой женщиной!—сердито воскликнул Махмуд.—Так вот, я касался этой падали, припавшей нивесть откуда, и, вероятно, осквернился и не могу теперь есть риса. Я сделал это по приказанию Тюана Бабалатчи, чтобы угодить белому человеку. Доволен ли ты, о, Тюан Олмэйр? И что ты дашь мне в награду? Тюан Бабалатчи сказал, что ты наградишь меня. Подумай только! Я осквернил себя, а если и не осквернил, то, может быть, подпал под власть злых чар. Ты только взгляни на его ножные запястья! Где это слыхано, чтобы мертвецы появлялись ночью под бревнами с золотыми обручами на ногах?

Здесь наверное кроется колдовство. Впрочем,—продолжал Махмуд после сосредоточенного минутного размышления,—я возьму браслет, если мне позволят, потому что у меня есть талисман против привидений, и я их не боюсь. Велик аллах!

Новый взрыв шумной горести со стороны миссис Олмэйр прервал поток его красноречия. Олмэйр был совершенно сбит с толку. Он по очереди смотрел то на жену, то на Махмуда, то на Бабалатчи; в конце концов взгляд его как зачарованный остановился на трупe утопленника, лежавшем в грязи с покрытым лицом, с причудливо и неестественно растерзанным и раздробленным телом; одна вывернутая, истерзанная рука, сквозь мясо которой местами торчали белые кости, была откинута в сторону. Кисть ее с растопыренными пальцами почти касалась ноги Олмэйра.

— Ты не знаешь, кто это?—тихо спросил он у Бабалатчи.

Бабалатчи неподвижно уставился прямо перед собою и едва заметно пошевелил губами; неумолчные причитания миссис Олмэйр заглушили его тихий ответ, предназначенный для ушей одного только Олмэйра.

— Такова видно судьба его! Взгляни себе под ноги, о белолицый! Я вижу хорошо знакомое мне кольцо на этих изуродованных пальцах.

Говоря так, Бабалатчи сделал неосмотрительный шаг вперед и как-будто нечаянно наступил ногою на руку трупа, вдавив ее в мягкий ил. Он угрожающе замахнулся посохом на толпу, которая тотчас же немного подалась назад.

— Ступайте прочь,—сказал он сурово,—и отошлите своих женщин к кострам, которых им вообще не следовало покидать, чтобы бежать за незнакомым трупом. Здесь дело мужское. Я беру этого мертвеца от имени раджи. Пускай здесь останутся одни только невольники Тюана Олмэйра. Ступайте.

Толпа неохотно начала расходиться. Сперва ушли женщины, уводя упирающихся детей, всей тяжестью своей повисавших на материнской руке. Мужчины медленно потянулись за ними, то сходясь в кучки, то снова разбредаясь по мере приближения к деревне; каждый постепенно ускорял шаг, направляясь к своему дому, потому что всех подгонял голод и ожидание утреннего риса. Только несколько человек—друзей или врагов Махмуда—задержались немного на пригорке над спуском к реке, с любопытством поглядывая на небольшую толпу людей, окружавших тело на берегу.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать, Бабалатчи,—сказал Олмэйр.—О каком кольце ты говоришь? Кто бы ни

был бедняга, но ты втоптал его руку в самую грязь.—Открой его лицо,—продолжал он, обращаясь к миссис Олмэйр, сидевшей на корточках в головах у трупа и раскачивавшейся из стороны в сторону. Она потрясала своими растрепанными седыми кудрями и жалобно причитала вполголоса.

— Увы!—вскричал Махмуд, державшийся поблизости.—Взгляни, Тюан! Бревна столкнулись между собою вот так (тут он сжал руки ладонями вместе) и голова его, должно быть, попала между ними, так что теперь не осталось у него лица, на которое ты мог бы взглянуть. Мясо его есть, и кости, и нос, и губы, и может быть и глаза—но никто не отличит их теперь друг от друга. Так написано было в день его рождения, что никто не сможет взглянуть на него мертвого и сказать: „вот лицо друга моего!“

— Замолчи, Махмуд! Довольно!—сказал Бабалатчи.—Будет тебе глазеть на его браслет, о, пожиратель свиного мяса! Тюан Олмэйр,—продолжал он, понизив голос,—видел ты Дэйна сегодня утром?

Олмэйр широко раскрыл глаза с испуганным видом.

— Нет,—быстро отвечал он.—Не видал ли ты его? Может быть, он у раджи? Я жду его; отчего он не приходит?

Бабалатчи печально тряхнул головой.

— Он пришел, Тюан. Он уехал от нас вчера в самую бурю, когда река всего сильнее бушевала и гневалась. Ночь была чернее черного, но в сердце его теплился свет, в сиянии которого путь к твоему дому казался ему ровнее спокойной воды в канале, а многочисленные пловучие бревна—безвреднее соломинок. Поэтому он поехал — и вот лежит теперь здесь.

И Бабалатчи кивнул головою в сторону трупа.

— Откуда ты знаешь?—сказал Олмэйр, в волнении отталкивая жену.

Он сорвал покрывало с лица утопленника и взглянул на бесформенный комочек волос, мяса и засыхающей грязи на том месте, где должно было находиться лицо мертвеца.

— Ничего нельзя сказать,—прибавил он содрогаясь, и отвернулся.

Бабалатчи опустил на колени и вытер грязь с закочевших пальцев откинутой руки. Потом он выпрямился, и перед глазами Олмэйра сверкнул золотой перстень, украшенный крупным зеленым камнем.

— Ты хорошо знаешь этот перстень,—сказал Бабалатчи.—Он никогда не сходил с руки Дэйна. Мне сейчас пришлось сорвать кусок мяса, чтобы снять его. Вернешь ли ты мне теперь?

Олмэйр вскинул руки над головою, а потом бессильно уронил их в полном оцепенении отчаяния. Смотревший на него с любопытством Бабалатчи к удивлению своему заметил, что он улыбается. Странное представление овладело мозгом Олмэйра, потрясенным этим новым бедствием. Ему показалось, что в течение многих лет он непрерывно падал в яму. День за днем, месяц за месяцем, год за годом—все падал, падал, падал. Яма черная, круглая, с гладкими стенками, и эти черные стенки летели кверху с утомительной быстротой. Потом раздался шум падения, который он, казалось, все еще слышал; наконец ужасный толчок—он упал на дно, и остался жив и невредим, а Дэйн лежал мертвый, с переломанными костями. Это показалось ему смешно. Мертвый малаец; он часто и без малейшего волнения видал мертвых малайцев; но на этот раз ему хотелось плакать—плакать над участью одного знакомого ему белого человека: этот человек упал в глубокую пропасть—и не убили. Ему представлялось, что он как-будто стоит в стороне, немного поодаль, и смотрит на некоего Олмэйра, над которым стряслась большая беда. Бедный, бедный Олмэйр! Почему он не перережет себе горла? Ему хотелось поощрить его в этом направлении; ему поскорее хотелось увидеть его мертвым, лежащим поперек того, другого трупа. Почему он не умрет и не прекратит своих страданий? Он бессознательно громко застонал и вздрогнул, испугавшись звука собственного голоса. Уж не с ума ли он сходит? В ужасе от этой мысли он повернулся и бросился бежать к дому, твердя: „Я не схожу с ума, конечно нет! Нет, нет, нет!“ Он старался сосредоточиться на этой мысли. Он не сходит с ума, не сходит! Он спотыкался, ничего не видя, когда взбегал по ступенькам, все быстрее и быстрее повторяя эти слова, словно в них таилось его спасение. Он увидал стоявшую на веранде Найну и хотел сказать ей что-то, но только никак не мог вспомнить, что именно,—так он старался не забыть, что он и не думает сходить с ума. Он продолжал твердить это, бегая вокруг стола, куда не наткнулся на одно из кресел и не свалился в окончательном изнеможении. Он сидел, дико уставясь на Найну, все продолжая уверять себя в своей умственной нормальности и удивляясь тому, что девушка пяtilась от него, широко раскрыв глаза от испуга. Что с ней такое? Ведь это глупо, наконец! Он изо всей силы ударил кулаком по столу и закричал хриплым голосом: „Поддай мне джину! Живее!“ Найна убежала, а он продолжал сидеть в кресле, очень тихо и спокойно, сам удивляясь наделанному им шуму.

Найна вернулась, неся в руках стакан джина. Олмэйр сидел и рассеянно смотрел перед собою. Он чувствовал страшную усталость, словно после долгого странствия, точно он прошел много, много верст в то утро и теперь страстно мечтал отдохнуть. Он дрожащей рукой взялся за стакан, и, пока он пил, зубы его стучали о стекло. Он осушил стакан и тяжело поставил на стол. Потом медленно перевел взгляд на Найну, стоявшую перед ним, и твердо сказал:

— Теперь все кончено, Найна. Он умер, а это все равно как если бы я сжег свои лодки.

Он почувствовал гордость от того, что мог говорить так спокойно. Положительно, он и не думает сходить с ума. Эта уверенность придала ему бодрости, и он продолжал говорить, рассказывать о том, как найден был труп, все время с удовлетворением прислушиваясь к собственному голосу. Найна стояла совершенно спокойно, легко положив руку на плечо отца; она не изменилась в лице, но каждая черта ее, самая ее поза выражали напряженное, тревожное внимание.

— Так, значит, Дэйн погиб,—холодно сказала она, когда отец ее замолчал.

Деланно-спокойное поведение Олмэйра мгновенно уступило место взрыву бурного негодования.

— Ты стоишь как истукан,—сердито закричал он,—и рассуждаешь со мною так, будто речь идет о пустяках! Да, он умер! Понимаешь ли ты это? Умер! Но тебе и горя мало. Тебе никогда ни до чего дела не было, хотя ты и видела, как я боролся, трудился, старался; но тебя это ничуть не трогало, а моих мучений ты просто-напросто никогда не замечала. Никогда, никогда! У тебя нет сердца, да и ума у тебя нет, иначе ты поняла бы, что я трудился ради тебя и твоего счастья. Я хотел разбогатеть, хотел вырваться отсюда. Я хотел, чтобы белые люди преклонялись перед твоею красотой и богатством. Я на старости лет стремился уехать в чужую для меня страну, вернуться к чуждой мне цивилизации—а для чего? Для того, чтобы увидеть твои триумфы, твое счастье. Ради этого я терпеливо влачил ношу труда, разочарований, унижений среди здешних дикарей и все это уже почти держал в руках.

Он взглянул на внимательное лицо дочери и вскочил на ноги, опрокинув при этом стул.

— Слышишь? Все это уже было близко, совсем близко, почти в руках у меня...

Он остановился, стараясь преодолеть свой нарастающий гнев; но это ему не удалось.

— Или у тебя чувства нет?—продолжал он.—Или ты живешь без надежд?—Молчание Найны выводило его из себя, и он возвысил голос, хотя все еще старался совладать с собою.

— Неужели ты согласна жить и умереть в этой несчастной дыре? Да отвечай же хоть что-нибудь, Найна! Неужели в тебе нет сострадания? И ты ни словом не можешь утешить меня, меня, который так любил тебя?

Он некоторое время ждал ответа; не получив его, он потряс кулаком перед лицом дочери.

— Ты, кажется, идиотка!—заревел он.

Он оглянулся, ища стула, поднял его и тяжело на него опустился. Гнев его улегся, и ему стыдно стало своей вспышки; но в то же время он чувствовал облегчение, что наконец-то объяснил дочери скрытый смысл своей жизни. Он вполне искренно верил, что это так, будучи обманут эмоциональной оценкой своих побуждений и не имея возможности понять бесчестность своих поступков, беспочвенность своих стремлений, ничтожество своих сожалений. Теперь сердце его преисполнено было огромной нежности и любви к дочери. Ему хотелось видеть ее несчастной, чтобы разделить ее скорбь; но ему хотелось этого лишь потому, что все слабые натуры мечтают разделять свое горе с существами, в нем неповинными. Если бы она сама страдала, она поняла-бы и пожалела бы его; а так она не хотела—или не могла—найти ни слова утешения в его ужасающей беде. Сознание его абсолютного одиночества ударило его по сердцу с такою силою, что он весь задрожал. Он покачнулся и повалился лицом на стол, протянув перед собою напряженные, окоченелые руки. Найна сделала быстрое движение в сторону отца и опять остановилась, глядя на седую голову, на широкие плечи, судорожно потрясаемые бурностью его чувств, нашедшей наконец исход в слезах и рыданиях.

Найна тяжело вздохнула и отошла от стола. С ее лица сбегало каменное безразличие, доведшее ее отца до этого взрыва печали и гнева. Выражение ее черт, которых Олмэйр больше не видел, быстро изменилось. Она повидимому совершенно равнодушно выслушала мольбу Олмэйра об участии, об одном только словечке утешения, но грудь ее разрывалась от противоречивых порывов, порожденных неожиданными—или, по крайней мере, не так скоро ожидаемыми ею—событиями. Зрелище его скорби глубоко взволновало ее сердце; она знала, что одним словом могла положить конец его горю, всей душой рвалась успокоить это истер-

занное сердце—и в то же время с ужасом внимала голосу своей всемогущей любви, приказывавшему ей молчать. И она покорилась этому голосу после короткого отчаянного возмущения ее прежнего „я“ против нового начала ее жизни. Она вооружилась абсолютным молчанием, своей единственной защитой против какого-нибудь рокового признания. Она не решалась сделать знак, прошептать слово, так она боялась сказать что-нибудь лишнее; самая сила переживаний, взволновавших сокровеннейшие тайники ее души, как-будто превратила ее в камень. Расширенные ноздри и сверкающие глаза—вот единственные признаки, выдававшие бурю, бушевавшую у нее внутри; но этих-то признаков волнения своей дочери Олмэйр не мог увидеть, потому что гнев, жалость к самому себе и отчаяние застилали ему зрение.

Если бы Олмэйр взглянул на свою дочь, наклонившуюся над перилами веранды, он бы видел, как равнодушие на ее лице уступило место страданию и как тревога и напряжение глубокими морщинами помрачили лучезарную красоту ее лица. Буйные травы на запущенном дворе неподвижно стояли перед нею в полуденном зное. Со стороны берега раздались голоса и шлепанье босых ног; они приближались к дому. Слышно было, как Бабалатчи отдавал приказания людям Олмэйра; глухие причитания миссис Олмэйр стали явственнее, как только небольшое шествие с телом утопленника, предводимое скорбною матроною, показалось из-за угла дома. Бабалатчи снял сломанное запястье с ноги погибшего и держал его в руке, идя рядом с носильщиками, а Махмуд робко следовал позади в надежде на обещанную награду.

— Положите его сюда,—сказал Бабалатчи невольникам Олмэйра, указывая на груду сохнувших досок, сваленных против веранды.—Он был Каффир и собачий сын и был другом белого человека. Он пил огненную воду белого человека,—прибавил он с притворным ужасом.—Я сам это видел.

Люди уложили раздробленное тело на двух смежных досках; миссис Олмэйр прикрыла тело куском белой бумажной ткани, а затем, пошептавшись с Бабалатчи, отправилась хлопотать по хозяйству. Невольники Олмэйра, сложив свою ношу, разбрелись кто-куда в поисках тенистого уголка, где бы проваляться весь день. Бабалатчи остался один возле тела, неподвижно лежавшего под белым саваном в ярких лучах солнца.

Найна спустилась с лестницы и подошла к Бабалатчи; при виде ее, он поднес руку ко лбу и склонился с видом глубочайшего раболепства.

— У тебя осталось запястье,—сказала Найна, глядя на поднятое к ней лицо и одинокий глаз Бабалатчи.

— Да, мем Путай, осталось,—отвечал учтивый дипломат. Потом, обернувшись в сторону Махмуда, он поманил его рукой и крикнул:—Поди сюда!

Махмуд нерешительно приблизился. Он избегал глядеть на Найну, зато так и впился глазами в Бабалатчи.

— Ну, слушай,—резко начал Бабалатчи.—Ты видел запястье и перстень и знаешь, что они принадлежали Дэйну и никому другому. Дэйн вернулся прошлой ночью на челноке. Он беседовал с раджою, а среди ночи отправился через реку к дому белого человека. Была сильная буря, и сегодня утром ты нашел его в реке.

— За ноги я выволок его из воды!—пробормотал тот про себя.—Но мне будет награда за это, Тюан Бабалатчи!—воскликнул он вслух.

Бабалатчи поднес запястье к глазам Махмуда.

— То, что я сказал тебе, Махмуд, это—для всех ушей. То, что я даю тебе сейчас, только для твоих собственных глаз. Возьми.

Махмуд поспешно схватил запястье и спрятал его в складках своего набедренника.

— Разве я глупец, чтобы показывать это в доме, где трое женщин?—проворчал он.—Но я расскажу им о Дэйне-купце, и не будет конца разговорам.

Он повернулся и пошел прочь, ускорив шаги, как только очутился за пределами усадьбы Олмэйра.

Бабалатчи следил за ним, покуда он не исчез за кустами.

— Хорошо ли я сделал, мем Путай?—смирненно обратился он к Найне.

— Хорошо,—отвечала она.—Кольцо можешь оставить себе.

Бабалатчи поднес руку к губам и ко лбу и поднялся на ноги. Он посмотрел на Найну, как бы выжидая, не скажет ли она еще чего-нибудь, но Найна направилась к дому и стала подыматься по лестнице, а ему махнула рукой, чтобы он уходил.

Бабалатчи взялся за посох и хотел-было удалиться. Было очень жарко, и его ничуть не прельщала длинная поездка до дома раджи; но все же ему необходимо было поспешить обратно и доложить радже о событии, об изменении их планов, о всех своих подозрениях. Он направился к мосткам и принялся распутывать раттановую привязь своего челнока.

Широкий простор низовьев реки с искрящейся поверхностью, усеянной черными точками рыбацких лодок, раски-

аулся перед его очами. Похоже было, что плыли рыбаки, перегоняя друг друга. Бабалатчи остановился и с интересом стал всматриваться. Человек в передней лодке уже поравнялся с первыми домами Самбира. Он бросил весла и встал на ноги с криком:

— Шлюпки! Шлюпки! Шлюпки с военного корабля плывут! Они уже здесь!

В одну минуту селение опять ожило, люди бежали к реке. Мужчины принялись отвязывать свои челноки, женщины столпились в кучки и глядели в сторону нижнего поворота реки. Легкое облачко дыма легло темным пятном на яркую синеву безоблачного неба над вершинами окаймлявших поток деревьев.

Бабалатчи стоял в замешательстве с канатом в руке. Он взглянул вниз, потом вверх на дом Олмэйра, потом опять на реку, как-будто не зная, что предпринять. Наконец он снова торопливо привязал челнок и бросился бежать к дому и на веранду.

— Тюан! Тюан!—звал он.—Шлюпки плывут. Военные шлюпки. Тебе бы следовало приготовиться. Офицеры придут сюда, я знаю!

Олмэйр медленно поднял голову от стола и бессмысленно уставился на него.

— Мем Путай!—воскликнул Бабалатчи, обращаясь к Найне.—Взгляни на него! Он ничего не слышит. Будь осторожна,—прибавил он значительно.

Найна кивнула ему головой с неуверенной улыбкой и только-что собиралась отвечать, как громкий выстрел из пушки, стоявшей на шканцах появившегося в эту минуту парового катера, остановил слова у нее на устах. Улыбка пропала; ее сменило прежнее выражение тревожного внимания. Далекие холмы отозвались протяжным, как скорбный вздох, эхом, словно вся страна издала его в ответ на оклик своих властителей.

ГЛАВА VIII

Весть о том, чье тело лежит на усадьбе Олмэйра, мигом облетела селение. В течение утра большинство обитателей так и не уходило с улицы, обсуждая таинственное возвращение и неожиданную гибель человека, известного им под именем купца. Его появление в период северо-восточного муссона, его долгое пребывание среди них, его внезапный отъезд на бриге, а главное—загадочное появление его трупa между пловучих бревен,—все это давало пищу догадкам и толкам, ничуть не терявшим своего интереса от повторений. Махмуд переходил от дома к дому, от кучки к кучке, всегда готовый повторить свой рассказ: как он увидел тело, зацепившееся саронгом за вилообразный сучок; как миссис Олмэйр, прибежавшая одной из первых на его крик, опознала тело даже ранее, чем он успел вытащить его на берег; как Бабалатчи приказал ему вытащить его из воды.—Я вытащил его за ноги, и у него не было головы,—восклидал Махмуд:—как могла жена белого человека узнать, кто это? Всем известно, что она колдунья. А видели вы, как сам белый человек кинулся бежать при виде тела? Точно олень!—И тут Махмуд к великому удовольствию зрителей передразнивал длинные шаги Олмэйра.—И за все свои хлопоты он ровно ничего не получил. Тюан Бабалатчи оставил у себя перстень с зеленым камнем. „Ничего! Ровно ничего!“ Он плевал себе под ноги в знак негодования и покидал эту кучку в поисках новых слушателей.

Достигнув крайних пределов поселка, новость эта застала Абдуллу в прохладном приюте его торговых складов, где он сидел, наблюдая за своими конторщиками-арабами и рабочими, разгружавшими и нагружавшими лодки с верховьев реки. С пристани вызвали Решида, где он работал; он застал своего дядюшку по обыкновению спокойным, даже веселым, но чрезвычайно изумленным. Слух о захвате или гибели Дэйнова брига дошел до арабов уже дня три тому назад через посредство рыбаков с моря и обитателей низовьев реки. Этот слух быстро передавался от соседа к соседу, пока не дошел до Буланджи, лесная запашка которого ближе

всего находилась к поселку; тот лично принес эту весть Абдулле, благоволения которого добивался. Но стоустая молва твердила о бывшем сражении и о гибели Дэйна на судне; а теперь все только и говорили, что о приезде Дэйна к раджи и о смерти, постигшей его во время переправы в темноте через реку, когда он плыл к Олмэйру. Этого они никак не могли понять. Решид находил все это чрезвычайно странным; он недоумевал и волновался. Абдулла же, после первого порыва изумления, по свойственному старости отвращению к загадкам, проявил должную покорность судьбе. Он заметил, что человек этот во всяком случае умер, а потому более не опасен. К чему пытаться постичь веления рока, особенно в тех случаях, когда они клонятся ко благу правоверных? И набожно воззвав к аллаху, милосердному и многомилостивому, Абдулла, повидимому, счел инцидент исчерпанным.

Но не так думал Решид. Он медлил близ своего дядюшки, задумчиво пощипывая холеную бородку.

— Много лжи во всем этом,—промолвил он.—Он уже был мертв и вернулся к жизни для того, чтобы сызнова умереть нынче ночью. Через несколько дней голландцы явятся сюда и потребуют выдачи этого человека. Неужели я больше дам веры словам женщин и праздных гуляк, нежели собственным своим глазам?

— Говорят, будто тело перенесено на усадьбу к Олмэйру,—сказал Абдулла.—Если ты хочешь понаведаться туда, то сделай это до прибытия голландцев. Ступай попозднее. Нехорошо будет, если скажут, что нас видели недавно за оградой этого человека.

Решид согласился с последним замечанием и покинул дядюшку. Он прислонился к притолоке входной двери и лениво поглядывал через двор сквозь ворота на главную улицу поселка. Улица вытянулась перед ним, пустынная, прямая, желтая, вся залитая дневным сиянием. В горячем послеобеденном зное гладкие стволы пальмовых деревьев, очертания домов и крыша Олмэйрова дома, видневшаяся над кустами на темном фоне леса на дальнем конце дороги, как-будто дрожали в жаре, излучаемой дымящейся землею. Рои желтых бабочек взлетали, садились и снова вспархивали для коротких перелетов перед полузакрытыми глазами Решиды. У ног его, в высокой траве, покрывавшей двор, однозвучно жужжали насекомые. Он продолжал сонно глядеть перед собою.

Женщина вышла на дорогу с одной из боковых тропинок между домами, стройная девическая фигура, затененная широким подносом, установленным у нее на голове. Впечат-

ление от чего-то движущегося заставило сонные чувства Решида встрепетаться и несколько оживиться. Он узнал Тамину, невольницу Буланджи, с подносом сладостей, предназначенных для продажи,—каждодневное, привычное явление, не имевшее само по себе ровно никакого значения. Но она направлялась к дому Олмэйра,—ею можно было воспользоваться. Он встряхнулся и поспешил к воротам с криком: „Тамина! О!“ Девушка остановилась, поколебалась и медленно повернула обратно. Решид ждал ее и нетерпеливо махал рукой, чтобы она подошла поближе.

Приблизившись к Решиду, Тамина остановилась, опустив глаза. Решид несколько времени смотрел на нее, потом спросил:

— Ты идешь к Олмэйру в дом? В деревне говорят, будто купец Дэйн, тот, который утонул и был найден сегодня, лежит на усадьбе белого человека.

— Я слышала эти речи,—тихо сказала Тамина.—А сегодня утром у реки я видела самое тело. Где оно находится теперь, я не знаю.

— Так ты видела его?—торопливо подхватил Решид.—Что, Дэйн это или нет? Ты его много раз видела, ты должна была узнать его.

Губы девушки задрожали, и она некоторое время молчала, быстро переводя дыхание.

— Я его видела совсем недавно, сказала она наконец.—Люди правду говорят—он умер. Чего тебе угодно от меня, Тюан? Мне надо идти.

Как раз в эту минуту раздался пушечный выстрел с парового катера и заглушил ответ Решида. Решид оставил девушку и бросился к дому, но среди двора столкнулся с Абдуллой, направлявшимся к воротам.

— Оранг-бланда приехали,—сказал ему Решид,—и теперь мы дождемся награды.

Абдулла сомнительно покачал головою.

— Награды от белых людей долго приходится дожидаться,—сказал он.—Белые люди скоры во гневе и медлительны в благодарности. Впрочем, увидим.

Он стоял у ворот, поглаживая седую бороду и прислушиваясь издали к приветственным крикам, раздававшимся в конце деревни. Когда Тамина собралась уходить, он остановил ее.

— Послушай, девушка,—сказал он.—К Олмэйру придет много белых людей: Ты будешь у него в доме, будешь продавать свои пироги людям с моря. Что ты увидишь или услышишь—ты все мне перескажешь. Приходи сюда до заката

солнца, и я подарю тебе синий платок с красными горошинами. Теперь ступай и не забудь прийти.

Она тронулась в путь, он же подтолкнул ее концом своего длинного посоха, так что она споткнулась.

— Очень неповоротлива эта рабыня,—сказал он племяннику, и с чрезвычайным неодобрением посмотрел вслед девушке.

Тамина отправилась дальше с подносом на голове; ее глаза были устремлены в землю. Когда она проходила мимо открытых дверей, ее дружелюбно окликали, чтобы купить у нее сладости, но она не обращала внимания на оклики, пренебрегала торговлей под влиянием сосредоточенного размышления. Начиная с утра ей многое довелось услышать, многое увидеть такое, что наполняло ее сердце радостью, смешанною с глубоким страданием и страхом. Перед рассветом, ранее чем она покинула дом Буланджи, чтобы плыть в Самбир, она услышала голоса у дома, в котором все спали кроме нее. Теперь, зная слова, произнесенные в темноте, она держала в своих руках чужую жизнь, а в груди своей таила большое горе. Но поступь у нее была упругая, спина не гнулась, на лице было будничное выражение апатии, и, глядя на нее, никто не догадался бы, каким тяжким грузом давит ее голову поднос, наполненный печеньем жен Буланджи. В этой гибкой, прямой как стрела фигуре, грациозной и вольной на ходу, за этими кроткими очами, говорившими лишь о бессознательной покорности, скрывались все чувства и страсти, все надежды и опасения, проклятие жизни и утешение смерти. Но она и не подозревала об этом. Она жила подобно тем пальмам, под которыми сейчас проходила; они стремились к свету, искали солнца, боялись грозы, не сознавая ни того, ни другого. Невольнице неведомы были ни надежды, ни перемены судьбы. Она не знала иных небес, иных вод, лесов, иного мира, иной жизни. У нее не было ни упований, ни любви, ни страха—кроме разве боязни побоев—и никаких сильных чувств, кроме чувства голода, да и то редко, потому что Буланджи был богат, и рису было вдоволь в его одиноком доме на распаханной лесной поляне. Отсутствие страдания и голода составляло ее счастье, а если она подчас и чувствовала себя несчастной, то это значило только, что она устала от дневной работы больше, чем обыкновенно. В таких случаях она крепко засыпала, без грёз и сновидений, в жаркие ночи юго-западного муссона, засыпала под яркими звездами на платформе, выстроенной около дома, над рекою. В доме тоже все спали: у самых дверей Буланджи, за ним дальше вглубь комнаты—его жены; дети спали с матерями.

Она слышала их дыхание, сонный голос Буланджи, звонкий крик ребенка, быстро смолкавший от успокоительных ласковых слов. И она смежала очи под журчанье воды внизу, под тихий шелест ветерка наверху, не сознавая неисчерпаемой жизни тропической природы, напрасно говорившей с нею тысячами слабых шорохов ближнего леса, дыханьем знойного ветерка, пряными ароматами, веявшими вокруг ее лба, белыми клубами утреннего тумана, нависавшего над нею в торжественном предрассветном безмолвии всего мироздания.

Так жила она до прибытия брига с чужестранцами. Она хорошо помнила это время; она помнила, как взволновался весь поселок, сколько было бесконечных догадок, сколько дней и ночей, проведенных в разговорах и тревоге. Она помнила свою собственную робость перед незнакомцами, покуда привязанный у берега бриг не сделался как бы частью поселка; тогда повседневное общение уничтожило страх. Посещение корабля вошло в число ее обычных занятий. Она робко поднималась по покатым сходням под ободряющие возгласы и более или менее пристойные шутки матросов, лениво глядевших через борт корабля. Она продавала свой товар этим людям, говорившим так громко и державшимся так свободно. Здесь всегда царила суета, люди приходили и уходили, перекликались между собою; порою раздавались приказания, исполнявшиеся под аккомпанемент громких криков. Гремели блоки, вздымались канаты. Она усаживалась где-нибудь в стороне, в тени намета; она ставила перед собою поднос, хорошенько окутывала лицо вуалью, робяя среди такого множества мужчин. Она улыбалась всем покупателям, но не заговаривала ни с кем из них, равнодушно и непоколебимо пропуская мимо ушей их шутки. Вокруг себя она слышала разговоры о далеких странах, диковинных обычаях и еще более необычайных событиях. Все это были храбрые люди; но даже самые смелые из них со страхом упоминали о своем вожде. Часто человек, которого они называли своим господином, проходил мимо нее с гордой и равнодушной осанкой, в цвете молодости и блеске пышных одежд, бряцая золотыми украшениями, а все остальные расступались перед ним, ловили малейшее движение его уст, готовые исполнить каждое его приказание. В такие минуты вся сила жизни сосредоточивалась в ее взгляде, и она как зачарованная смотрела на него из-под своего покрывала, боясь в то же время привлечь к себе его внимание. Однажды он заметил ее и спросил:

— Что это за девушка?

— Это невольница, Тюан! Она продает пироги!—отвечал десяток голосов.

Она в ужасе вскочила, хотела бежать на берег, но он окликнул ее и велел вернуться. Она остановилась перед ним, вся дрожа и опустив голову, а он ласково заговорил с нею, взял ее за подбородок и с улыбкой заглянул ей в глаза.—Не бойся,—сказал он, и больше никогда уже не заговаривал с нею. Кто-то окликнул его с берега, он взглянул в ту сторону—и забыл об ее существовании. Тамина увидела Олмэйра, стоявшего на берегу под-руку с Найной. Она слышала веселый призыв Найны и видела, как радостно просветлело у Дэйна лицо, когда он устремился на берег. С тех пор она возненавидела этот голос навеки.

С того самого дня она уже не показывалась на усадьбе Олмэйра, а проводила полуденные часы на бриге, в тени большого навеса. Она ждала появления Дэйна, и по мере того, как он приближался к ней, сердце ее билось все сильнее в бурном смятении недавно проснувшихся чувств радости, страха и надежды, и опять понемногу замирало, когда фигура Дэйна удалялась от нее; после этого ею овладевало полнейшее изнеможение, точно она выдержала какую-то борьбу, и она подолгу сидела в состоянии томной задумчивости. Потом, среди дня, она медленно возвращалась домой, позволяя своему челноку плыть по течению спокойной реки. Весло праздно висело в воде, а она сидела на корме, опершись подбородком на руку, широко раскрыв глаза, и прислушивалась к лепету своего сердца, переходившему наконец в необычайно сладкую песню. Она прислушивалась к этой песне и дома, когда толкла рис; звуки этой песни заглушали для нее визгливую перебранку жен Буланджи и обращенные к ней самой сердитые упреки. Когда солнце близилось к закату, она отправлялась к реке купаться и слышала песню, покуда стояла на мягкой мураве, покрывавшей пологий берег; платье лежало у ее ног, а она смотрела на свое отражение в зеркально-гладкой поверхности потока. Та же песня звучала ей, когда она медленно возвращалась домой, распустив по плечам свои влажные волосы. Ложась спать под яркими взглядами звезд, она смыкала веки под журчанье воды внизу, под шелест теплого ветерка наверху, под говор природы, звеневший в слабом шорохе дремучих лесов, и под пенье собственного сердца.

Она слышала это пенье, но не понимала его и упивалась мечтательною радостью своего обновленного бытия, не думая о цели и смысле его, покуда полное сознание жизни не осенило ее в скорби и гнев. Она испытала безумное стра-

дание, когда впервые у нее на глазах длинный челнок Найны бесшумно проплыл мимо спящего дома Буланджи, унося влюбленную чету в белый туман широкой реки. Бешенство и ревность дикарки довели ее до пароксизма чисто физической боли, она упала на берег и задыхалась, страдая безмолвно, как раненый зверь. Она продолжала терпеливо вращаться в заколдованном кругу рабства, исполняя изо дня в день свои обязанности со всем пылом горя, которое она даже выразить не умела. Она отшатывалась от Найны, как отшатнулась бы от острого ножа, вонзающегося ей в тело, но продолжала посещать бриг и питать отчаянием свою безгласную, темную душу. Она много раз видела Дэйна. Он не заговаривал с нею, не глядел на нее. Неужели глаза его были слепы для всего, кроме одного только женского образа? Неужели он был глух ко всему, кроме звуков одного только женского голоса? Он так и не замечал ее—не заметил больше ни разу.

А потом он уехал. Она в последний раз видела его вместе с Найной в то утро, когда Бабалатчи осматривал свои бредни и впервые убедился, что у Найны и Дэйна роман. Дэйн исчез, и сердце Тамины, в котором бесплодно таились зародыши любви и ненависти, высшей страсти и величайшего самопожертвования, забыло о своих печалях и радостях, как только внешние чувства перестали служить ему. Полудикая душа девушки, рабыня ее тела, забыла бледный и расплывчатый образ идеала, коренившегося в физических побуждениях ее дикарской природы. Она снова погрузилась в забытье и обрела утешение в том, что Найна теперь разлучена с Дэйном и, вероятно, навеки. Он наверное забудет ее. Мысль эта облегчила ей последние уколы умирающей ревности, которой ничто уже больше не поддерживало, и Тамина успокоилась. Правда, покой этот напоминал унылую тишину пустыни, которая спокойна потому, что безжизненна.

И вот теперь он вернулся. Она узнала его голос, громко окликавший Буланджи в сумраке ночи. Она прокралась вслед за своим господином, чтобы услышать ближе этот упительный звук. Она слушала его с затаенным дыханием, как вдруг раздался еще один голос. Безумная радость, грозившая лишь за секунду до этого разорвать ее бурно-бьющееся сердце, вдруг отхлынула, и девушка снова вздрогнула от той старой физической боли, которую испытала однажды, когда увидела Дэйна вдвоем с Найной. Найна что-то говорила, приказывала, о чем-то молила; Буланджи возражал, уговаривал, наконец согласился. Он вошел в дом, чтобы

выбрать весло из груды весел, сваленных за дверью. Голоса у дома продолжали переговариваться, и Тамина уловила отдельные слова. Она узнала, что он бежит от белых людей, что он ищет убежища, что он в опасности. Но в то же время она подслушала такие речи, которые разбудили бешеную ревность, столько дней дремавшую в ее груди. Притаившись в грязи, во мраке, среди свай, она слышала шопот в лодке: „Я не боюсь ни препятствий, ни лишений, ни опасностей, я не боюсь даже смерти,—если бы только в награду меня ожидало краткое мгновение крепкого объятия, взгляд твоих очей, прикосновение твоих губ“. Так говорил Дэйн, сидя в лодке и держа руки Найны, в ожидании возвращения Буланджи, а Тамина стояла подле, прислонившаяся к скользкому столбу, и ей казалось, будто огромная тяжесть легла ей на плечи и давит, давит на нее, погружая ее в черную маслянистую воду. Ей хотелось закричать, броситься на этих людей, оторвать друг от друга их темные фигуры, бросить Найну в спокойную воду, вцепиться в нее, притиснуть ее к самому дну так, чтобы этот человек не мог найти ее. Но она не могла ни кричать, ни двигаться. Тут раздались шаги; кто-то шел по бамбуковой платформе у нее над головою; это был Буланджи; он сел в самую маленькую свою лодочку и отправился вперед, указывая Найне и Дэйну дорогу; Найна и Дэйн гребли вслед за ним. Их смутные фигуры проплыли перед ее пылающими глазами и потонули в темной дали под легкий плеск весел, осторожно погружаемых в воду.

Она осталась одна, в холоде и сырости; она не могла шелохнуться; она едва переводила дыхание под тяжестью, которую незримая рука судьбы внезапно взвалила на ее хрупкие плечи; дрожа всем телом, она ощущала в себе внутренний огонь, пожиривший, казалось, самую ее жизнь. Когда новый день протянул золотистую ленту над черной полоской лесов, она взяла свой поднос и ушла на деревню, исполняя свое дело лишь в силу привычки. Подходя к Самбиру, она заметила всеобщее волнение и с мимолетным изумлением услышала о том, что найдено тело Дэйна. Это была неправда,—она-то хорошо это знала. Она жалела, что он не погиб. Ей легче было бы знать, что Дэйн умер, что он разлучен с женщинами,—с этой женщиной. Ей сильно хотелось видеть Найну, хотя она и не знала зачем. Она ненавидела и боялась ее, а в то же время непреодолимая сила толкала ее к дому Олмэйра, чтобы увидеть лицо белой женщины, всмотреться в ее глаза, вновь услышать тот голос, ради которого Дэйн готов был рисковать своей свободой, даже

жизнью. Она столько раз видела ее; она в течение долгих месяцев изо дня в день слышала ее голос; что же было в этой девушке, что могло заставить человека говорить так, как говорил Дэйв, сделать его слепым ко всем другим лицам, глухим ко всякому другому голосу?

Она отделилась от толпы и бесцельно побрела между опустелых домов, борясь против силы, толкавшей ее к дому Олмэйра, чтобы прочесть в глазах Найны тайну своего собственного несчастья. Подымавшееся все выше солнце укорачивало тени и изливало на нее потоки удушливого зноя и света; она переходила из тени на солнце, из солнца в тень, мимо домов, кустов и высоких деревьев, бессознательно стараясь спастись бегством от страданий собственного сердца.

Короткая беседа с Решидом и предположение Абдуллы немного подбодрили ее и направили ее мысли в другую сторону. Дэйну грозит какая-то опасность, он скрывается от белых людей. Это она узнала минувшей ночью. Все считали его умершим. Она знала, что он жив, и знала, где он находится. Что нужно знать арабам о белых? Что нужно белым от Дэйна? Не хотят ли они убить его? Она бы могла рассказать им всю правду,—но нет, она ничего им не скажет, а ночью отправится к нему и подарит ему жизнь за одно только слово, за одну улыбку, даже за один только жест,—и будет его рабою где-нибудь в чужом краю, вдали от Найны. Но все это было чрезвычайно опасно. Одноглазый Бабалатчи, который все знает; жена белого человека,—ведь она ведьма; они могут проговориться. Вдобавок ко всему тут была еще и Найна... Нет, ей необходимо самой посмотреть, как обстоят дела.

Она торопливо свернула с тропинки и бегом побежала к жилищу Олмэйра, пробираясь сквозь низкую поросль между высокими пальмами. Она выбралась к дому около задворков, где узкая канавка, полная стоячей воды, отделяла усадьбу Олмэйра от деревни. По краям канавы росли пышные кусты, которые скрывали от Тамины большой двор и кухонный навес. Над кустами вились тонкие струйки дыма; со двора доносилась чуждая непонятная речь; девушка поняла, что люди моря, прибывшие на военном корабле, уже высадились и расположились лагерем между канавой и домом. Одна из девушек, невольница Олмэйра, вышла слева и нагнулась над блестящей водой, чтобы вымыть какой-то котелок. Справа от нее верхушки банановой рощи, возвышавшиеся над кустами, мотались в воздухе от прикосновения невидимых рук, собиравших плоды. Несколько лодок, привязанных к высокому

столбу, скупилось на спокойной воде, образуя нечто в роде мостика близ того места, где стояла Тамина. Порою говор на дворе становился громче; люди спрашивали, отвечали, смеялись, а потом голоса замирали, переходили в молчание, прерываемое новыми криками. По временам легкий голубой дымок сгущался, темнел и пахучими клубами переползал через канаву, обволакивая ее на минуту удушливою пеленою. Потом, когда свежее-подброшенный хворост разгорался как следует, дым рассеивался в ярком солнечном свете, и только запах душистого дерева далеко разносился с подветренной стороны потрескивающих костров.

Тамина поставила свой поднос на пенек и устремила взгляд в сторону Олмэйрова дома. Крыша дома и край белой стены виднелись вверх над кустами. Девушка-рабыня выполоскала котелок и, посмотрев с любопытством на Тамину, стала пробираться обратно на двор сквозь густую заросль. Тамина почувствовала себя одинокой. Она бросилась наземь и закрыла лицо руками. Теперь, когда она была так близко от Найны, у нее не хватало смелости взглянуть на соперницу. Каждый раз, когда голоса на дворе становились громче, она вздрагивала, боясь услышать ее голос.

В конце концов она решила оставаться на своем месте до наступления ночи, а ночью отправиться к тому месту, где прячется Дэйн. Отсюда ей было видно все, что делали белые люди: и Найна, и друзья, и недруги Дэйна. И те и другие были ей равно ненавистны, потому что и те, и другие стремились отнять его у нее. Она спряталась в высокой траве и с нетерпением стала дожидаться заката солнца, которое как-будто нарочно медлило и не покидало небес.

Следуя радушному приглашению Олмэйра, моряки с фрегата расположились лагерем у него на дворе по ту сторону канавы, за кустами, вокруг ярко пылавших костров. Найне удалось вывести отца из апатии, и он во-время спустился к пристани и встретил офицеров при самой их высадке. Командовавший моряками лейтенант принял его приглашение и вошел к нему в дом, при чем заметил, что Олмэйр-то им и нужен,—«хотя,—прибавил он,—это едва ли будет приятно Олмэйру». Олмэйр как-будто и не слышал его слов. Он рассеянно пожал руки гостям и повел их к дому.

Он сам не понимал, что он говорит, и потому по нескольку раз повторял свои приветствия, чтобы казаться принужденным. Волнение хозяина не укрылось от глаз офицеров, и старший из них вполголоса сообщил своему

подчиненному, что сильно сомневается в трезвости Олмэйра. Молоденький суб-лейтенант засмеялся и шопотом выразил надежду, что опьянение не помешает белому человеку предложить и им по стакану вина. „Он непохож на преступника“, — прибавил он, подымаясь вслед за Олмэйром на веранду.

— Нет, он скорее дурак, чем негодяй; я кое-что слышал о нем, — возразил старший.

Они уселись вокруг стола. Олмэйр дрожащими руками мешал коктейль и предлагал стаканы направо и налево и пил сам, с каждым глотком чувствуя себя сильнее и увереннее.

Он не знал о судьбе, постигшей бриг, а потому и не подозревал истинной цели посещения офицеров. Ему в общей, так сказать, форме представлялось, что власти что-то проведали о торговле порохом, но он не опасался ничего, кроме каких-нибудь мимолетных осложнений. Осушив стакан, он принялся развязно болтать, развалившись и перекинув одну ногу через ручку кресла. Лейтенант сидел верхом на стуле с папиросой в углу рта и, лукаво улыбаясь, слушал его болтовню. Младший лейтенант облокотился на стол, положил голову на руки и сонно поглядывал кругом в оцепенении усталости и под влиянием джина. Олмэйр разглагольствовал:

— Так приятно увидеть здесь белые лица. Я много лет прожил в этих местах одиноко. Малайцы, вы сами понимаете, не компания для белого; к тому же они сами белых терпеть не могут; они не понимают ни наших вкусов, ни наших привычек. Притом все они — отъявленные мерзавцы. Кажется мне, что на всем восточном побережье единственный постоянный житель из белых людей, это — я. К нам иногда заезжают гости из Макассара или Сингапура — купцы, агенты, ученые исследователи, но и то редко. Приезжал сюда один такой, год тому назад, или больше. Он жил у меня в доме — пил с утра до ночи. Прожил всего несколько месяцев, а когда иссяк запас спиртного, привезенного им с собою, он вернулся в Батавию с готовым докладом о минеральных богатствах центральных участков острова. Ха, ха, ха! Недурно, не правда ли?

Он вдруг запнулся и уставился на гостей бессмысленным взглядом. Пока они смеялись, он повторял все ту же старую повесть: „Дэйн умер, все мои планы рухнули. Конец надеждам, конец всему“. Сердце его упало. Он почувствовал какую-то смертельную слабость.

— Очень недурно! Превосходно!—вскричали оба офицера.

Олмэйр стряхнул с себя уныние с помощью нового приступа болтливости.

— А как насчет обеда? С вами есть повар. Это прекрасно. На заднем дворе имеется кухонный навес. Я могу дать вам гуся. Вы взгляните на моих гусей—единственные на всем восточном побережье. Может быть, на целом острове нет таких гусей, как у меня. Это и есть ваш повар? Прекрасно. Али, покажи кухонный навес этому китайцу и скажи мэм Олмэйр, чтобы она отвела ему там местечко. Моя жена, господа, не выходит к гостям, а дочка может быть и покажется. Тем временем не угодно ли еще выпить? День сегодня жаркий.

Лейтенант вынул сигару изо рта, критически осмотрел пепел, стряхнул его и обратился к Олмэйру.

— У нас к вам очень неприятное дело,—сказал он.

— Очень жаль,—отвечал Олмэйр.—Но надеюсь, что не слишком серьезное?

— Если вы находите попытку взорвать на воздух по меньшей мере сорок человек делом несерьезным, то вряд ли кто-нибудь с вами в этом согласится,—резко возразил офицер.

— Взорвать на воздух? Что такое? Я ничего об этом не знаю!—воскликнул Олмэйр.—Кто это сделал? Или кто покушается на это?

— Человек, с которым вы имели дела,—отвечал лейтенант.—Он был известен здесь под именем Дэйна Марулы. Вы продали ему порох, которым был нагружен захваченный нами бриг.

— Как вы узнали о бриге?—спросил Олмэйр.—Я понятия не имею о том, что он шел с грузом пороха.

— Один из местных купцов, араб, сообщил о ваших здешних проделках в Батавию около месяца тому назад,—отвечал моряк.—Мы поджидали бриг в открытом море, но он проскользнул мимо нас у самого устья реки, и нам пришлось гнаться за ним к югу. Когда он увидел нас, он устремился на рифы и выбросился на берег. Экипаж бежал на шлюпках раньше, чем мы успели завладеть судном. Когда наши шлюпки подходили к нему, произошел ужасающий взрыв, и он взлетел на воздух; одна из лодок подошедших слишком близко, опрокинулась, и два человека утонули,—вот результат вашей спекуляции, мистер Олмэйр. Теперь нам нужен этот самый Дэйн. У нас есть веские основания

думать, что он скрывается здесь в Самбире. Знаете ли вы, где он находится? Вам следовало бы постараться наладить свои отношения с властями и быть со мною совершенно откровенным. Где Дэйн?

Олмэйр встал и подошел к балюстраде веранды. Казалось, он нисколько не думал о вопросе офицера. Он смотрел на неподвижное, окоченелое тело, покрытое белым саваном, на который заходящее в облаках солнце бросало слабый красноватый отблеск. Лейтенант ждал ответа, быстро посасывая свою полупотухшую сигару. Позади них Али бесшумно накрывал на стол, торжественно расставляя разрозненную и жалкую посуду, раскладывая оловянные ложки, вилки со сломанными зубцами и ножи с зазубренными как пила лезвиями и ослабевшими черенками. Он почти совершенно забыл, как надо накрывать на стол для белых людей. Его огорчало, что мэм Найна не захотела помочь ему. Он отступил несколько назад, чтобы полюбоваться на дело рук своих. Он гордился собою. Так, вероятно, будет хорошо; а если господин потом начнет сердиться, то тем хуже для мэм Найны: зачем она не помогала ему? Он покинул веранду и отправился за обедом.

— Ну-с, мистер Олмэйр, согласны ли вы отвечать на мой вопрос с той же откровенностью, с какой он был поставлен? — спросил лейтенант после продолжительного молчания.

Олмэйр повернулся и в упор посмотрел на своего собеседника.

— Если вы поймаете Дэйна, то что вы с ним сделаете? — спросил он.

Офицер вспыхнул.

— Это не ответ, — сказал он с досадой.

— А что вы сделаете со мной? — продолжал Олмэйр, не обращая внимания на слова офицера.

— Уж не собираетесь ли вы торговаться? — проворчал офицер. — Это плохая тактика, уверяю вас. В настоящее время у меня не имеется никаких приказаний на ваш счет, но мы рассчитывали, что вы поможете нам поймать этого малайца.

— Вот именно, — перебил Олмэйр. — Именно так. Вы ничего не можете сделать без моей помощи, и поэтому я должен помочь вам его отыскать. Ведь я знаю его так хорошо.

— Это именно то, на что мы рассчитываем, — согласился офицер. — Вы совершили преступление, мистер Олмэйр, и должны постараться загладить это.

— И тем спасти свою шкуру?

— До известной степени—да. Голова ваша отнюдь не в опасности,—сказал лейтенант с коротким смешком.

— Отлично,—сказал Олмэйр решительно.—Я выдам вам этого человека.

Оба офицера поспешно вскочили на ноги и стали искать свое оружие, которое перед тем отстегнули. Олмэйр резко расхохотался.

— Тише, тише, господа!—воскликнул он.—Не торопитесь. Делайте, как я вам скажу! После обеда, господа, вы его получите.

— Но ведь это же нелепость!—горячились офицеры.—Мистер Олмэйр, это дело не шуточное. Тот человек—преступник. Он достоин виселицы. Покуда мы обедаем, он может убежать. Слух о нашем приезде...

Олмэйр подошел к столу.

— Даю вам честное слово, господа, что он не убежит. Он у меня в руках.

— Его надо арестовать еще до вечера,—заметил младший офицер.

— Вы будете отвечать в случае неудачи. Мы готовы, но ничего сейчас не можем предпринимать без вас,—прибавил старший с видимой досадой.

Олмэйр сделал жест согласия.

— Даю вам честное слово,—повторил он неопределенно.—А теперь давайте обедать,—прибавил он весело.

Найна вошла в дверь и остановилась, придерживая занавесь, чтобы пропустить Али и старуху-малайку с тарелками.

Потом она направилась к трем мужчинам у стода.

— Позвольте вас познакомить,—сказал напыщенно Олмэйр.—Моя дочь! Найна, эти господа, офицеры с фрегата, что стоит в устье, сделали мне честь принять мое приглашение.

Найна медленно наклонила голову в ответ на низкие поклоны обоих моряков и села на свое место против отца. Все сели.

Повар с парового катера принес несколько бутылок вина.

— Разрешите поставить это на стол,—сказал лейтенант Олмэйру.

— Как! Вино! Вы очень любезны. Разумеется! У меня вина нет. Очень уж трудное время.

Последние слова Олмэйр произнес дрогнувшим голосом. Ему снова живо представилось, что Дэйн умер и почудилось, будто железная рука сдвинула ему горло. Он потянулся к бутылке с джином и хлебнул долгий глоток, покуда те откупоривали вино. Лейтенант, разговаривавший с Найной, быстро взглянул на него. Младший офицер понемногу оправлялся от смущения, которое охватило его, когда он увидел Найну, неожиданно вошедшую в комнату. Красота Найны поразила его.

„Она очень хороша и величава, — рассуждал он про себя, — но все же она в конце концов только метиска“.

Эта мысль придавала ему храбрости и он искоса посмотрел на Найну. Найна, вполне спокойная, тихим и ровным голосом отвечала на вежливые расспросы старшего из офицеров — как она живет в этой местности. Олмэйр оттолкнул от себя тарелку и в мрачном молчании пил вино, принесенное гостями.

ГЛАВА IX

— Как мне поверить твоим словам? Они напоминают сказку, которую слушаешь сквозь сон у сторожевого костра; так и чувствуется, что это бабьи сплетни.

— Кого мне здесь обманывать, о раджа?—возразил Бабалатчи.—Без тебя я ничто. Ты много лет хранил меня под кровом твоей десницы. Не время теперь питать подозрения. Нам надо все обдумать и принять меры еще до заката солнца.

— Верно, верно,—задумчиво промолвил Лакамба.

Они уже целый час сидели вдвоем в приемном покое раджи; Бабалатчи присутствовал при посадке голландских офицеров и в ту же минуту переправился через реку, чтобы доложить своему господину обо всех утренних событиях и столкнуться с ним, какой политики нужно держаться при новых обстоятельствах. Оба они были ошеломлены и испуганы неожиданным оборотом дел. Раджи сидел в кресле скрестив ноги и пристально глядел в пол; Бабалатчи прикурнул рядом с ним в позе, изобличавшей глубочайшее уныние.

— А где, ты говоришь, он сейчас скрывается?—спросил Лакамба, прерывая наконец полное мрачных предчувствий молчанье, в которое они долго были погружены.

— На лесной запашке Буланджи, на самой дальней поляне, в стороне от дома. Они отправились туда нынче ночью. Дочь белого человека сама отвезла его. Она сама же и сказала мне об этом, сказала совершенно открыто, ибо она наполовину белая и не знает стыда. Она сказала, что поджидала его все время, пока он был у нас; наконец он выступил из мрака и без сил упал к ее ногам. Он лежал как мертвый, но она оживила его в своих объятиях, вдохнула в него свое дыханье. Вот что она сказала мне прямо в лицо—так, как я говорю сейчас с тобою, раджа. Она подобна белой женщине,—скромность неведома ей.

Он замолчал, глубоко возмущенный. Лакамба кивнул головой.

— Ну, а потом?—спросил он.

— Потом они кликнули старуху, — продолжал Бабалатчи, — и Дэйн рассказал им все как было — про бриг и про то, как он постарался убить много людей. Он знал, что оранг-бланда близко, хотя и не сказал нам об этом; он вполне отдавал себе отчет в опасности, грозившей ему. Он думал, что убил много народу, но на самом деле погибло только два человека, как мне сказали люди с моря, бывшие на военных шлюпках.

— А другой человек, тот, что был найден в реке? — перебил Лакамба.

— Это один из его гребцов. Когда бревна опрокинули челнок, они поплыли рядом, но тот, вероятно, был ранен. Дэйн плыл, поддерживая его. Он оставил его в кустах, а сам отправился к дому. Когда все они спустились к нему на берег, сердце его уже перестало биться. Тогда старуха подала совет, и Дэйн одобрил его. Он снял свое запястье и сломал его, надевая его на ногу мертвеца. Он надел свой перстень на руку раба. Он снял с себя саронг и облек в него тело, уже не нуждавшееся в одежде, а обе женщины помогали ему и поддерживали труп. Они имели в виду обмануть все глаза и сбить с толку всех обитателей поселка, так чтобы те клятвенно могли подтвердить то, чего на самом деле не было, и чтобы никто не мог выдать их, когда придут белые люди. После этого Дэйн и белолицая девушка отправились вызывать Буланджи и искать места, где бы ему спрятаться, а старуха осталась у тела.

— Гай! — вскричал Лакамба. — Это — мудрая женщина.

— Да, к ней приставлен особый бес, и он-то и нашептывает ей все это, — согласился Бабалатчи. — Она с трудом подтащила труп к тому месту, где сбилось много бревен. Все это она проделала еще затемно, едва стихла буря. Потом она стала дожидаться. При первом проблеске зари она тяжелым камнем размозжила лицо покойника и спихнула его под бревна, а сама осталась поблизости ждать, что будет. На заре пришел Махмет Банджер и нашел тело. Все поверили, и даже я поддался обману — хотя и не надолго. Белый человек — тот поверил и в отчаянии убежал домой. Когда я остался один, то, побуждаемый подозрениями, допросил старуху; опасаясь моего гнева и твоего могущества, она во всем мне призналась и просила тебя помочь им спасти Дэйна.

— Его нельзя выдать оранг-бланда, — сказал Лакамба; — но пускай он умрет, если только это можно устроить так, чтобы не получилось огласки.

— Этого никак нельзя, Тюан! Вспомни, тут замешана эта женщина; она наполовину белая, с ней невозможно справиться: она наверное наделала бы страшного шума. К тому же здесь сейчас находятся офицеры. Они и без того уже страх как сердиты. Мы должны помочь ему ради собственной нашей безопасности.

— Так офицеры очень сердиты?—спросил с любопытством Лакамба.

— Очень. Старший начальник осыпал меня бранью, когда я приветствовал его от твоего имени. Мне думается,—прибавил Бабалатчи после минутной паузы, принимая сокрушенный вид,—мне думается, что я еще ни разу не видал ни одного белого вождя в таком гневе. Он сказал, что мы небрежны или еще того хуже. Он объявил мне, что будет говорить с самим раджою, а что я ничего не значу.

— Говорить с раджою?—задумчиво повторил Лакамба.— Слушай, Бабалатчи: я нездоров, я удаляюсь к себе. Ты поедешь и скажешь об этом белым людям.

— Хорошо,—сказал Бабалатчи.—Я немедленно же отправлюсь на ту сторону; а как насчет Дэйна?

— Постарайся спровадить его. Великая это у меня на душе забота!—вздыхнул Лакамба. Бабалатчи встал с места, подошел к своему повелителю и серьезно сказал:

— Одно из наших судов стоит на якоре у южного устья реки. Дальше к северу, голландский корабль сторожит главный проток. Сегодня же ночью я отправлю Дэйна в челноке, по скрытым каналам, на наше судно. Отец его—могущественный царь, и он узнает о нашем великодушии. Пусть корабль отвезет его в Ампанам. Велика будет слава твоя, а наградой тебе послужит могущественная дружба. Олмэйр несомненно выдаст голландцам труп утопленника за тело Дэйна, и безрассудные белые скажут: „Вот и прекрасно; пусть все успокоится“. И забота оставит сердце раджи.

— Правда, правда,—сказал Лакамба.

— А так как все это будет устроено мною, рабом твоим, то ты наградишь меня щедрой рукою, я это знаю. Белый человек горюет об утраченном сокровище по обыкновению белых людей, которые жаждут долларов. Но позднее, когда все придет в порядок, мы еще, быть может, добьемся сокровища от белого человека. Поэтому необходимо устроить так, чтобы Дэйн был спасен, а Олмэйр остался жив.

— Ступай же, ступай, Бабалатчи!—сказал Лакамба, поднимаясь со стула.—Мне очень нехорошо, и я должен буду принять лекарство. Так ты и передай белому начальнику.

Но от Бабалатчи не так-то легко было отделаться. Он

знал, что, по обычаю сильных мира, господин его охотно взвалил бы на него одного всю тяжесть трудов и опасностей; но он хотел, чтобы раджа разделил с ним его труды. Пусть он очень болен для белых людей, для всех на свете, если ему угодно,—лишь бы он взял на себя исполнение хоть бы части старательно-обдуманного плана Бабалатчи. Бабалатчи нужно было, чтобы с наступлением темноты за Дэйном выслали лодку с двенадцатью гребцами. Может быть, придется прибегнуть к насилию. Нельзя ожидать, чтобы влюбленный ясно различал путь к спасению, особенно когда этот путь уводит его от любимого им существа,—рассуждал Бабалатчи,—и в таком случае им придется увезти его силой. Раджа должен озаботиться назначением верных людей на эту поездку. Все дело должно оставаться втайне. Может быть, раджа сам поедет туда, чтобы силою своего авторитета повлиять на Дэйна, если тот заупрямится и не захочет покидать свое убежище? Раджа не дал никакого определенного обещания, а только озабоченно торопил Бабалатчи, опасаясь, как бы белые люди не явились к нему с неожиданным визитом. Старый царедворец нехотя распрощался с ним и вышел во двор.

Прежде чем спуститься к своей лодке, Бабалатчи постоял минутку на широкой площади двора; пышнолиственные деревья там и сям отбрасывали от себя черные пятнистые тени, как будто колыхавшиеся на поверхности целого потока лучей, ровного и яркого, обтекавшего дома, частокол и реку; над рекою этой поток сверкал тысячею блестящих мелких волн, точно лента, сотканная из лазури и золота, окаймленная яркою зеленою деревьев, стороживших оба берега Пантэя. Среди невозмутимого покоя, предвешавшего начало вечернего бриза, зубчатая линия деревьев неподвижно выделялась на яркой синеве неба; казалось, будто ее провела неверная, дрожащая рука. В обнесенном высоким частоколом дворе стоял аромат увядающих цветов, заброшенный сюда из окрестного леса, да легкий запах вяленой рыбы. Порою к ним примешивалась струя едкого дыма от обеденных костров, когда его носило ветром из-под пышных ветвей и он лениво цеплялся за выгоревшую траву.

В ту минуту, когда Бабалатчи взглянул на флагшток, возвышавшийся над купой низкорослых деревьев посреди двора, трехцветный нидерландский флаг слегка затрепетал—впервые за этот день, хотя и был поднят с прибитием военных шляпок. Бриз промчался легкими вздохами, тихонько шелестя листвою деревьев, капризно поиграл минуту с символом власти—и в то же время рабства—Лакамбы,

потом перешел в резкий порыв ветра,—и флаг широко и свободно взвился над деревьями. Темная тень пробежала по реке, застывая блеск угасающего дневного светила. Большое белое облако медленно проплыло по темнеющему небу и повисло на западе, дожидаясь, пока солнце догонит его. Люди и вещи стряхнули с себя гнет жаркого дня и ожили под первым дуновением прохладного морского ветерка.

Бабалатчи поспешил вниз к реке; но прежде чем выйти из ворот, он оглянулся на двор, на его светотень, на его веселые костры, на небольшие группы рассеянных по двору солдат и приближенных Лакамбы. Его собственный дом стоял тут же, среди прочих построек внутри ограды, и самбирский сановник почувствовал как сжалось его сердце, когда он спросил себя: как и когда ему суждено будет вернуться в этот дом? Ему предстояло иметь дело с человеком более опасным, нежели самое свирепое животное, с которым ему когда-либо приходилось встречаться. Это был человек гордый, своевольный как все государи, притом влюбленный. Он же шел к нему с речами, внушенными холодной житейской мудростью: Что могло быть опаснее? Что, если вдруг этот человек усмотрит в его словах что-нибудь оскорбительное для своей чести, малейшее неуважение к своим привязанностям и совершит „амок“? Мудрый советник несомненно пал бы первой жертвой его гнева и заслужил бы себе в награду смерть. Вся опасность настоящего ужасного положения заключалась в возможности вмешательства со стороны этих дураков, этих белых людей. Перед духовными очами Бабалатчи уже рисовалась картина унылой ссылки в далекую Мадуну. Это было бы хуже самой смерти! А тут еще эта наполовину белая женщина с такими грозными глазами! Разве мог он предугадать, на что способно это загадочное для него существо? Одно было несомненно: она посвящена во всё, она знает слишком много,—убить Дэйна безнаказанно нельзя. А между тем острый зазубренный крисс, такой верный, такой молчаливый друг,—думал Бабалатчи, любовно оглядывая свой собственный меч, и со вздохом вложил его обратно в ножны, чтобы распутать узлы на веревке, которой был привязан его челнок. И все время потом, когда он распутывал привязь, отталкивался от берега и работал веслом, он размышлял о том, как нехорошо бывает, когда в государственные дела замешается женщина—молодая, разумеется, ибо он испытывал самое искреннее уважение к зрелой мудрости миссис Олмэйр, он преклонялся перед ее счастливой способностью к интригам, приходящей к женщинам вместе с годами.

Он греб не торопясь, позволяя течению относить челнок в сторону. Солнце стояло еще высоко, и торопиться было нечего. Его деятельность должна была начаться лишь с наступлением темноты. Он обогнул мысок, избегая Лингардовой пристани, и въехал в ручей за домом Олмэйра. Там уже покачивалось множество челноков, привязанных носами к одному и тому же колу. Бабалатчи пристроил свое суденышко туда же и вышел на берег. Что-то зашевелилось в траве по ту сторону канавы.

— Кто это там прячется? — окликнул Бабалатчи. — Выходи и отвечай мне.

Никто не отозвался. Бабалатчи перебрался через ручей, перелезая из лодки в лодку, и злобно ткнул своим длинным посохом в подозрительное место. Тамина вскрикнула и вскочила.

— Что ты тут делаешь? — спросил он с изумлением. — Я чуть было не наступил на твой поднос. Разве я дайка, что ты от меня прячешься?

— Я устала и заснула, — смущенно забормотала Тамина.

— Заснула! Ты ничего не продала за весь день, тебя поколотят дома, — сказал Бабалатчи.

Тамина стояла перед ним растерянная и безмолвная. Бабалатчи внимательно, с глубоким удовлетворением оглядывал девушку. Положительно, он набавит за нее еще пятьдесят долларов этому вору Буланджи. Девушка ему нравилась.

— Ступай домой, уже поздно, — сказал он сурово. — Скажи Буланджи, что около полуночи я буду у его дома и что я приказываю ему приготовить все, что нужно для дальнего путешествия. Понимаешь? Для дальнего путешествия на юг. Передай ему об этом еще до заката солнца, да смотри, не забудь моих слов.

Тамина знаком выразила согласие и смотрела вслед Бабалатчи, пока он переходил обратно через ручей. Когда же он исчез среди кустов, окаймлявших усадьбу Олмэйра, она отошла подальше в сторону и опять бросилась ничком в траву, вся дрожа от боли, не имея сил заплакать.

Бабалатчи направился прямо к кухонному навесу, разыскивая миссис Олмэйр. Во дворе царила страшная сумятица. Чужой китаец завладел обеденным костром и с шумом и криком требовал еще сковородку. На кантонском и скверном малайском наречии он осыпал укоризнами девушек-рабынь, столпившихся поодаль и забавлявшихся — хотя и не без примеси страха — его волнением. Со стороны костров, вокруг которых расположились матросы с фрегата, доноси-

лись подзадоривания, смех и шутки. Среди всего этого шума и смятения Бабалатчи встретил Али. В руках у Али было пустое блюдо.

— Где белые люди?—спросил у него Бабалатчи.

— Они обедают на передней веранде,—отвечал Али.— Не задерживай меня, Тюан. Я подаю кушанье белым людям, и мне некогда.

— Где мэм Олмэйр?—

— Там, в коридоре. Она слушает их разговоры.

Али осклабился и пошел дальше; Бабалатчи поднялся по дощатому скату на заднюю веранду, знаками подозвал к себе миссис Олмэйр и завел с нею серьезный разговор. Через длинный коридор, завешенный вдали красной занавесью, до них время от времени доносился голос Олмэйра, вступавший в разговор так громко и отрывисто, что миссис Олмэйр выразительно взглянула на Бабалатчи.

— Слышишь?—сказала она.—Он сильно выпил.

— Да,—прошептал Бабалатчи.—Зато он будет крепко спать ночью.

На лице миссис Олмэйр выразилось сомнение.

— Иногда дьявол крепкого джина не дает ему уснуть, и он всю ночь ходит взад и вперед по веранде и ругается; тогда мы все прячемся подальше,—объяснила миссис Олмэйр, умудренная двадцатью годами супружеской жизни.

— Но он тогда ничего не слышит и не видит, и силы нет в деснице его. Он ничего не должен слышать сегодня ночью.

— Да, да,—подхватила миссис Олмэйр энергичным, хотя и осторожно пониженным голосом.—Он убьет нас, если услышит.

Бабалатчи усумнился.

— Гай, Тюан, ты можешь мне поверить. Я много лет прожила с этим человеком и часто видала смерть в его глазах, когда я была моложе и он догадывался кое о чем. Если бы он был человеком моего племени, я бы и двух раз не увидала этого выражения; но он...

Она сделала жест, выражавший несказанное презрение к трусливому отворачиванию Олмэйра к кровопролитию.

— Так чего же нам бояться, если у него есть только желание, а силы не хватает?—спросил Бабалатчи после короткого молчания, в течение которого они прислушивались к шумным разглагольствованию Олмэйра, откуда те не слились опять с общим гулом беседы.—Чего нам бояться?—повторил Бабалатчи.

— Чтобы удерживать любимую дочь, он без колебаний зарежет и тебя, и меня,—отвечала миссис Олмэйр.—Когда

девушка уедет, он будет похож на дьявола, сорвавшегося с цепи. Тогда нам с тобою ух как придется остерегаться.

— Я старик и не боюсь смерти,—отвечал Бабалатчи, тщетно усиливаясь казаться равнодушным.—Но ты-то что думаешь делать?

— Я старуха, но я хочу жить,—возразила миссис Олмэйр.—Она мне тоже дочь. Я буду искать защиты у ног нашего раджи; я напому ему о прошлом, когда мы оба были молоды, и он...

Бабалатчи поднял руку.

— Довольно. Тебе будет оказано покровительство,—сказал он примирительным тоном.

Тут снова раздался голос Олмэйра; они прервали свою беседу и стали слушать. Он говорил невнятно, но громко, с неравной силой повышая голос; неожиданные паузы и шумные повторения подчеркивали отдельные слова и фразы, так что они ясно долетали до слушателей среди бессмысленного, возбужденного гула, подкрепляемого вдобавок частыми ударами кулака по столу. В короткие промежутки молчания раздавался тонкий жалобный звон сталкивающихся между собой стаканов, постепенно замиравший, покуда не превращался снова в оглушительное дребезжанье, когда какая-нибудь новая мысль вызвала новый поток слов и новые удары тяжелой руки. Наконец ругательства замолкли, вместе с ними замолкла и тонкая жалоба потревоженной посуды.

Бабалатчи и миссис Олмэйр слушали молча и с любопытством, насторожив уши и нагнувшись в сторону коридора. При каждом громком выкрике они кивали друг другу головами с забавным видом возмущенного чувства приличия и долго еще оставались в прежней позе после того, как шум затих.

— Это дьявол водки,—шепнула миссис Олмэйр.—Да, он иногда разговаривает таким образом, когда никто его не слышит.

— А что он говорит?—поинтересовался Бабалатчи.—Ты, верно, понимаешь.

— Я позабыла их язык. Но кое-что я все-таки поняла. Он совсем непочтительно отзывался о белом правителе в Батавии, говорил о том, что с ним несправедливо поступили. Это он повторил несколько раз. Больше я ничего не поняла. Слушай! Он опять говорит!

— Тэ, тэ, тэ!—Бабалатчи прищелкнул языком. Он старался прикинуться возмущенным, но его одинокий глаз весело подмигивал.—Между белыми людьми наверное про-

изойдет крупная ссора. Я пойду и посмотрю. Ты же скажешь своей дочери, что ей предстоит неожиданный далекий путь, после которого ее ожидают почет и слава. Скажи ей, что Дэйн должен уехать, иначе он погиб, но что один он не уедет.

— Нет, он один не уедет,—медленно и задумчиво повторяла миссис Олмэйр, пробираясь опять в коридор после того, как Бабалатчи скрылся за углом дома.

Побуждаемый страстным любопытством, вершитель судеб Самбира быстро направился к переднему фасаду дома, но, как только он подошел, его движения сделались медленными и осторожными, и он шаг за шагом взобрался по лестнице веранды. Он тихонько уселся на верхней ступеньке, не покидая однако ногами нижних для того, чтобы легче было бежать в случае надобности. Таким образом он обеспечивал себе сравнительную безопасность. Олмэйр сидел у ближнего конца стола, спиной к Бабалатчи, Найна помещалась прямо напротив, а оба офицера по бокам; но из четырех сотрапезников только Найна и младший офицер заметили его бесшумное появление. Она еле-заметным движением век показала, что ей известно присутствие Бабалатчи, и тут же заговорила с молодым лейтенантом, поспешившим обратить на нее все свое внимание, но взгляд ее не покидал лица Олмэйра, продолжавшего все так же громко разговаривать.

— ...Вероломство и бессовестность! А что вы сделали для того, чтобы заслужить мою верность? Править страной вы не можете. Силы у вас нет. Мне приходилось защищаться самому; когда же я просил поддержки, то меня осыпали презрением и угрозами, бросали мне в лицо клевету арабов! Мне, белому человеку!

— Не горячитесь, Олмэйр,—уговаривал его старший лейтенант.—Все это я уже слышал.

— Тогда зачем говорить о порядочности? Мне нужны были деньги,—я дал за них пороху. Почему я знал, что этим порохом будут взорваны на воздух какие-то несчастные ваши люди? Порядочность! Тыфу!

Он неверной рукой принялся перебирать бутылки одну за другою, сердито ворча себе под нос.

— Вина нет,—заявил он с неудовольствием.

— Довольно его с вас, Олмэйр,—сказал моряк, закуривая сигару.—Не пора ли вам сдать нам вашего пленника? Я полагаю, что этот Дэйн Марула сидит у вас где-то тут, под семью замками; но все же лучше бы нам поскорее покончить с ним. А там можно будет и еще выпить. Что вы так на меня смотрите?

Олмэйр тупо уставился перед собой и дрожащими пальцами теребил свой ворот.

— Золота! — произнес он с усилием. — Гм! Точно рукою горло сдавило... Извините, пожалуйста... Я хочу только сказать — немного золота за горсть пороха. Что в том?

— Знаю, знаю, — успокаивал его офицер.

— Нет, вы не знаете! Никто из вас не знает! — закричал Олмэйр. — Дурацкое у нас правительство, вот что я вам скажу! Груды золота! Я один знаю, я да еще один человек. Только тот ничего не скажет. Он...

Он перебил себя с легкой улыбкой и попытался похлопать офицера по плечу; но это ему не удалось, и он только опрокинул две или три пустых бутылки.

— Сами-то вы славный малый, — сказал он очень явственно, покровительственным тоном. Потом голова его упала на грудь, и он что-то забормотал про себя.

Оба офицера беспомощно переглянулись.

— Нет, это не годится, — сказал лейтенант своему подчиненному. — Постройте команду здесь во дворе. Я должен добиться от него толку... Эй, Олмэйр! Проснитесь! Исполните свое обещание. Вы дали слово — честное слово. Помните?

Олмэйр нетерпеливо стряхнул с себя руку офицера, но его неудовольствие мгновенно прошло, и он взглянул на того, приложив палец к носу.

— Вы очень молоды; всему свое время, — сказал он с необыкновенно проницательным видом.

Лейтенант обернулся к Найне. Она откинулась на спинку стула и не сводила глаз с отца.

— Право, мне так неловко перед вами, — воскликнул он. — Я не знаю, — продолжал он с некоторым замешательством, — имею ли я право просить вас о чем-либо, разве только о том, чтобы вы удалились от этой тяжелой сцены... но я должен... ради вашего отца... предложить вам... я хочу сказать... если вы имеете на него хоть малейшее влияние, то уговорите его исполнить обещание, которое он дал мне перед тем, как... перед тем, как пришел в это состояние.

К его огорчению, она как-будто вовсе не слышала его слов, а продолжала сидеть с полузакрытыми глазами.

— Я надеюсь, — начал он снова.

— О каком обещании вы говорите? — отрывисто спросила Найна, встала со стула и подошла к отцу.

— Я не просил у него ничего незаконного или недостойного. Он обещал выдать нам человека, который в мирное время отнял жизнь у невинных людей для того, чтобы избежать наказания за совершенное им преступление.

У него были широкие злодейские замыслы, и он не виноват что они не удались. Вы, конечно, слышали о Дэйне Маруле. Ваш отец, повидимому, припрятал его. Мы знаем, что он бежал вверх по реке. Может быть, вы...

— Так он убил белых людей?—перебила его Найна.

— К сожалению, белых, да. Двое человек лишилось ж изни из-за этого негодая.

— Только двое!—воскликнула Найна.

Тот посмотрел на нее с невыразимым удивлением.

— Как? Что? Вы...—начал он в замешательстве.

— Их могло быть и больше,—перебила его Найна.—А когда вы получите этого... этого негодая... вы тогда уедете?

Лейтенант молча поклонился.

— В таком случае я разыскала бы его для вас, хотя бы ради этого мне пришлось пройти сквозь пылающий огонь,—воскликнула она со внезапным приливом энергии.—Я ненавижу ваши белые лица! Я ненавижу ваши мягкие голоса! Это ваша манера разговаривать с женщинами, расточая медовые речи перед каждым хорошеньким личиком. Я не впервые слышу ваши голоса. Я надеялась прожить здесь, не увидав ни одного белого лица, кроме вот этого,—прибавила она уже мягче и слегка погладила отца по щеке.

Олмэйр перестал бормотать себе под нос и открыл глаза. Он схватил руку дочери и прижался к ней щекой, она же свободной рукою гладила его растрепанные седые волосы, вызывая поглядывая через голову отца на морского офицера; тот успел уже овладеть собою и в свою очередь уставился на нее холодным и твердым взглядом. Внизу перед верандой раздались шаги матросов, строившихся там по команде. Младший офицер взбежал по лестнице, а Бабалатчи встал на ноги, прижал палец к губам и старался поймать взгляд Найны.

— Ты хорошая девочка,—рассеянно проговорил Олмэйр, выпуская руку дочери из своей.

— Отец, отец!—воскликнула она, со страстной мольбою склоняясь к нему.—Посмотри, как глядят на нас эти люди! Отошли их! Я не могу больше! Сделай то, чего они хотят, и пусть они уезжают.

Она заметила Бабалатчи и сразу замолкла, но продолжала быстро постукивать ногою об пол в припадке тревоги и беспокойства. Оба офицера стояли рядом и с любопытством наблюдали за происходившим.

— Что случилось? В чем дело?—шопотом спросил младший из них.

— Ума не приложу!—отвечал другой.—Она в бешенстве, он пьян. Впрочем, не так уже пьян, повидимому. Что за странность! Смотрите!

Дело в том, что Олмэйр поднялся, опираясь на руку дочери. Он несколько времени колебался, потом отпустил ее и пошатываясь побрел по веранде. Дойдя до половины ее, он остановился, тяжело дыша и гневно озираясь по сторонам.

— Готова команда?—спросил лейтенант.

— Так точно, готова.

— Ну-с, мистер Олмэйр, ведите нас,—сказал лейтенант.

Олмэйр посмотрел на него так, как-будто только сейчас впервые увидел его.

— Два человека,—сказал он хриплым голосом. Повидимому, сделанное им усилие нарушило его равновесие. Он быстро шагнул вперед и остановился, покачиваясь взад и вперед.—Двое,—начал он опять с усилием,—двое белых—в мундирах—порядочные, то-есть я хочу сказать—честные люди. Ведь вы честные?

— Довольно, перестаньте!—с нетерпением воскликнул офицер.—Подавайте нам вашего приятеля.

— А что со мною, по-вашему? — яростно спросил Олмэйр.

— Вы пьяны, хотя и не настолько, чтобы не создавать своих поступков. Довольно ломать комедию,—сурово отвечал офицер,—или я посажу вас под арест в вашем собственном доме.

— Под арест!—рассмеялся Олмэйр каким-то неприятным смехом.—Ха, ха, ха! Под арест! Господи, да я двадцать лет под арестом. Двадцать лет я стараюсь выбраться из этой адской дыры и не могу. Слышите, вы? Не могу и не смогу никогда! Никогда!

Его последние слова перешли в рыдание, и он шатаясь начал спускаться с лестницы. Во дворе лейтенант подошел к нему и взял его под руку. Младший офицер и Бабалатчи следовали за ними по пятам.

— Вот так-то лучше, Олмэйр,—сказал офицер ободряющим тоном.—Но куда же вы идете? Здесь только доски. Разве нам лодки нужны?—продолжал он, слегка встряхивая его.

— Нет,—злобно отвечал Олмэйр.—Вам нужна могила.

— Что такое? Опять заговаривается! Постарайтесь отвечать со смыслом.

— Могила!—заорал Олмэйр, стараясь вырваться.—Яма в земле! Как вы не понимаете? Вы, верно, пьяны! Пустите меня, пустите, говорят вам!

Он высвободился из рук офицера и качнулся в сторону досок, где лежал труп под белым покровом; потом он быстро повернулся лицом к обступившим его любопытным, заинтересованным лицам. Солнце быстро опускалось, дом и деревья отбрасывали длинные тени по всему двору, но над рекою было еще светло; большие бревна плыли по течению, резко очерченные и черные в бледно-красном зареве. Стволы деревьев на восточном берегу реки терялись во мраке, но вершины их еще купались в уходящих отблесках солнца. Воздух был холоден и тяжел, умирающий ветерок легкими порывами проносился над водою.

Олмэйр вздрогнул, пытаясь заговорить. Казалось, что он опять дрожащим жестом старается освободить свое горло от сжимающей его незримой руки. Его налитые кровью глаза бесцельно перебегали с одного предмета на другой.

— Ну,—сказал он наконец.—Все ли вы тут? Он человек опасный.

Он торопливо и резко дернул за саван, а закоченелый труп покатился с досок и упал к его ногам, беспомощный и застывший.

— Он холодный, совсем, совсем холодный,—сказал Олмэйр с невеселой улыбкой.—Очень жаль, но ничего больше сделать не могу. А вы даже и повесить его не можете. Обратите внимание, господа,—прибавил он серьезно,—у него нет головы и почти нет шеи.

Последний луч света сбежал с вершин деревьев, река вдруг потемнела; в наступившем глубоком молчании раздавалось только журчание бегущей воды и как-будто наполняло собою всю серую тень, ложившуюся на землю.

— Это и есть Дэйн,—продолжал Олмэйр, обращаясь к окружавшей его молчаливой группе людей.—И я сдержал свое слово. Сперва одна надежда, за ней другая, а это было моим последним упованием. Мне больше ничего не остается в жизни. Вы думаете, здесь только один мертвец? Ошибаетесь, смею вас уверить. Я гораздо мертвее его. Почему бы вам не повесить меня?—прибавил он вдруг дружелюбным тоном, обращаясь к лейтенанту.—Право, право же это была бы лишь пустая формальность.

Последние слова он произнес еле слышным голосом и зигзагами поплелся к дому.

— Отойди!—загремел он на Али, робко предлагавшего ему свою помощь. Кучки испуганных людей, мужчин и женщин, следили за ним издали. Он поднялся вверх по лестнице, держась за перила, и с помощью перил добрался до стула, на который грохнулся. Он сначала посидел немного, стало

дыша от утомления и гнева, озираясь кругом, нет ли где-нибудь поблизости Найны. Потом он сделал угрожающий жест рукою в сторону двора, где ему послышался голос Бабалатчи, и ногою опрокинул стол, полетевший с грохотом и звоном разбитой посуды. Он еще бормотал про себя какие-то угрозы, потом голова его упала ему на грудь, глаза закрылись, он тяжело вздохнул и заснул.

В ту ночь впервые мирный и цветущий Самбир увидел огни вокруг „Каприза“ Олмэйра. То были фонари с лодок, развешенные матросами на веранде, где оба офицера производили дознание, пытаясь установить степень достоверности рассказа Бабалатчи. Бабалатчи снова сделался важной персоной. Он был красноречив и убедителен, призывал небо и землю в свидетели своей правдивости. Нашлись и другие свидетели. Мехмет Банджер и многие другие были подвергнуты подробному допросу, длительному и скучному, затянувшемуся до позднего вечера. Послали нарочного за Абдуллой; тот отговорился дряхлостью лет, но прислал Решиди. Мехмет вынужден был предъявить браслет и с бешенством и горечью увидел, как лейтенант положил его к себе в карман в качестве одного из вещественных доказательств смерти Дэйна, которые надлежало представить по начальству вместе с официальным рапортом комиссии. Перстень Бабалатчи был отобран для той же надобности; но опытный государственный муж с самого начала примирился с этой потерей. Ему не жаль было потерять кольцо, лишь бы убедить белых людей. Удалось ли это? Он серьезно задавал себе этот вопрос, когда одним из последних собрался домой по окончании процедуры. Он не был вполне уверен в этом. Впрочем, хотя бы они поверили только на одну ночь—и то он уже успеет спровадить Дэйна подальше от их рук и тем обезопасит и себя. Он поспешно удалился, часто поглядывая назад, потому что опасался, что за ним будут следить, но ничего подозрительного не услышал и не увидел.

— Десять часов,—заметил лейтенант, поглядев на часы и зевая.—Воображаю, каких любезностей я наслушаюсь от капитана по возвращении. Пренеприятная история.

— Правда ли все это? Как вы думаете?—спросил его младший товарищ.

— Правда ли? Все это правдоподобно—но и только. Впрочем, если бы даже оказалось, что тут одно сплошное вранье, то что же мы можем сделать? Будь у нас дюжина лодок, мы могли бы обыскать все протоки и ручьи; да и то мало вышло бы толку. Этот сумасшедший пьяница совершенно прав,—мы

недостаточно прочно владеем побережьем. Эти люди что хотят, то и делают. Повешены ли наши гамаки?

— Да, я приказал боцману распорядиться на этот счет. А странная это парочка,—сказал младший офицер, махнув рукою в сторону дома Олмэйра.

— Гм! Действительно странная! Чего вы ей там наговорили? Я почти все время возился с отцом.

— Уверяю вас, что я был вполне корректен,—горячо запротестовал тот.

— Ладно, ладно, не волнуйтесь. В таком случае, она просто не терпит корректности. Я уж думал, что вы позволили себе какие-нибудь нежности. Помните, что мы находимся в служебной командировке.

— Ну, разумеется. Никогда этого не забываю. Был холодно-вежлив—и только.

Они еще посмеялись немного, а потом вместе принялись расхаживать по веранде, так как спать им еще не хотелось. Луна украдкой всплыла над деревьями и во мгновение ока превратила реку в поток сверкающего серебра. Лес выступил из темноты и стоял, мрачный и задумчивый, над блестящей водою. Ветерок замер, воцарилось спокойствие.

Как истые моряки, оба офицера молча шагали взад и вперед. Расшатанные доски равномерно колыхались под их шагами, сухим своим треском нарушая глубокую тишину ночи. В ту минуту, как они снова поворачивали назад, младший из них остановился и насторожился.

— Вы слышали?—спросил он.

— Нет,—сказал другой.—А что?

— Мне показалось, что раздался крик. Совсем слабый. Мне даже думается, что это был женский голос. В том вон доме. А! Вот опять! Слышите?

— Нет,—сказал лейтенант, прислушавшись.—Вам, молодежи, вечно чудятся женские голоса. Ложитесь-ка лучше спать, вам уж и то сны снятся. Спокойной ночи.

Луна поднималась все выше и выше, а теплые тени все уменьшались и уходили подальше, словно прячась от ее холодного, безжалостного света.

ГЛАВА X

— Наконец-то оно закатилось,—сказала Найна матери, указывая на холмы, за которые зашло солнце.—Слушай, мать. Я сейчас еду в ручей Буланджи, и если я не вернусь...

Она запнулась, и что-то похожее на сомнение затмило на минуту огонь скрытого возбуждения, который пылал в ее очах и озарял ясное бесстрашие ее лица отблеском могучей жизни в течение всего этого долгого, бурного дня—дня радости и тревоги, надежды и ужаса, смутной скорби и неясного упоения. Покуда сияло ослепительное солнце, под которым любовь ее родилась и вырастала во всепокоряющее чувство, ее решение поддерживалось в ней таинственным шопотом желания; это желание наполняло ее сердце нетерпеливым ожиданием темноты, знаменовавшей собою конец опасностей и борьбы, начало счастья, завершение любви, полноту жизни. Наконец-то оно закатилось! Короткие тропические сумерки погасли прежде, чем она успела испустить глубокий вздох облегчения; и вдруг теперь мгновенный мрак наполнился грозными голосами, призывавшими ее броситься очертя голову навстречу неизвестности, быть верной своим собственным побуждениям, отдаться страсти, ею самою вызванной и взлелеянной. Он ждал! В безлюдьи уединенной поляны, в безбрежном молчании лесов, он одиноко ждал ее, он, беглец, дрожащий за свою жизнь. Равнодушный к опасности, он ждал ее! Только ради нее он вернулся сюда; и вот теперь, когда приближался для него миг награды, она смущенно спрашивала себя, что означало это ледящее душу сомнение в ее собственной воле, в ее собственном желании. Она превозмогла себя и стряхнула страх, вызванный мимолетной слабостью. Он должен получить свою награду. Ее женская любовь и честь победили тревожащее сомнение в неведомой будущности, сторожившей ее во мраке реки.

— Нет, ты не вернешься,—пророчески молвила миссис Олмэйр.—Без тебя он не уедет, а если он останется здесь, то...—она махнула рукой в сторону огней „Каприза“, и недоговоренная фраза замерла в угрожающем шопоте.

Обе женщины сошлись за домом и теперь медленно направлялись вдвоем к ручью, где были привязаны все лодки. Дойдя до живой изгороди кустарников, они разом остановились. Миссис Олмэйр взяла дочь за руку, тшкетно стараясь заглянуть ей в лицо. Когда же она хотела заговорить, то первые ее слова были заглушены подавленным рыданием, странно звучащим в устах этой женщины, изю всех человеческих страстей знавшей, повидимому, только гнев и ненависть.

— Ты узраеешь, чтобуы стать великою царицей,—сказала она гаконец совершенно уже твердым голосом,—и если ты будешь умна, то приобретешь могущество, которое продлится много лет и которого ты не утратишь даже в старости. Чем я была в жизни? Вечной рабою и варила рис для мужа, лишенного доблести и разума. Увы! Воин и вождь подарил меня человеку, не бывшему ни тем, ни другим. Горе, горе!

Она тихо заголосила, оплакивая погибшие возможности убийств и злодеяний, которые выпали бы ей на долю, если бы судьба соединила ее с родственным ей по духу существом. Найна склонилась над тощей фигурой миссис Олмэйр и при свете звезд, высыпавших посмотреть на эту странную разлуку, внимательно разглядывала ее сморщенные черты, глубоко вглядывалась в ее впалые глаза, прозревавшие ее собственную будущность при свете долгого и тяжелого опыта. Как и встарь, она снова поддалась обаянию экзальтированных и пророчески уверенных материнских речей. Эти свойства, вместе с присущими ей припадками иступления, немало способствовали тому, что за миссис Олмэйр упрочилась репутация колдуньи.

— Я была рабою, а ты будешь царицей,—продолжала миссис Олмэйр, глядя прямо перед собою.—Только помни всегда, в чем сила и в чем слабость мужчины. Трепещи его гнева, дабы видел он страх твой, покуда светит день; но смейся в душе, ибо он—раб твой после заката солнца.

— Раб! Он! Владыка жизни! Ты не знаешь его, мать.

Миссис Олмэйр снисошла до презрительного смеха.

— Ты говоришь, как безрассудная белая женщина,—воскликнула она.—Что ты знаешь о мужском гневe и мужской любви? Видала ли ты, как спят мужи, утомленные убийством? Испытала ли ты когда-нибудь объятие могучей руки, умеющей глубоко вонзить кинжал в бьющееся сердце? Да что там говорить! Ты—белая женщина, тебе бы только молиться богу-женщине!

— Зачем так говорить? Я так долго слушала тебя, что забыла свою прежнюю жизнь. Если бы я действительно была

белой, разве я стояла бы здесь, готовясь к бегству? Мать, я вернусь в дом и в последний раз взгляну в лицо моего отца.

— Нет,—яростно возразила миссис Олмэйр.—Нет, он спит теперь пьяным сном, а если ты вернешься, он может проснуться и увидеть тебя. Нет, он никогда больше не увидится с тобою. Когда ты была малюткой, а ужасный старик отнял тебя у меня, ты помнишь...

— Это было так давно!—прошептала Найна.

— Но я-то помню,—страстно продолжала миссис Олмэйр.—Мне хотелось еще раз взглянуть на тебя. Он отказал. Я слышала твой плач и бросилась в реку. В то время ты была его дочерью, теперь ты—мое дитя. Ты никогда больше не войдешь в тот дом, ты никогда больше не перейдешь через этот двор. Нет, нет!

Она повысила голос почти до крика. По ту сторону ручья зашелестела трава. Обе женщины уловили этот шорох и некоторое время прислушивались в безмолвном испуге.

— А я все-таки пойду,—сказала Найна осторожным, но явственным шопотом.—Какое мне дело до твоей ненависти или мести?

И она двинулась к дому, но миссис Олмэйр вцепилась в дочь, стараясь удержать ее.

— Стой, ты не пойдешь туда,—твердила она, задыхаясь.

Найна нетерпеливо оттолкнула мать и подобрала юбки, готовясь бежать, но миссис Олмэйр забежала вперед и стала к дочери лицом, раскинув руки.

— Еще один только шаг,—воскликнула она, быстро переводя дыхание,—и я закричу. Ты видишь освещение в большом доме? Там сидят двое белых людей, разъяренных тем, что им не удалось пролить кровь твоего возлюбленного. А в этих темных домах,—продолжала она уже спокойнее и указала в сторону поселка,—мой голос пробудит людей, которые проводят воинов оранг-бланда к тому, кто ждет тебя.

Ей не видно было дочернего лица, но белая фигура молча и нерешительно стояла перед нею в темноте. Миссис Олмэйр ухватила за свой шанс на успех.

— Откажись от своей прежней жизни! Забудь!—заговорила она умоляющим голосом.—Забудь что ты когда-то видела белые лица; забудь их речи; забудь их мысли. Они говорят неправду, они думают неправду, ибо презирают нас, которые лучше их, но слабее. Забудь их дружбу и их презрение, забудь их многочисленных богов. Зачем тебе помнить прошлое, когда вождь народов и воин готов отдать множе-

ство жизней—свою собственную жизнь—за одну твою улыбку?

И говоря так, она тихонько толкала дочь к челнокам, скрывая свой собственный страх, волнение, сомнения под потоком страстных речей, не дававших Найне ни времени, ни возможности подумать или противиться, даже если бы ей этого и хотелось. Но ей этого уже больше и не хотелось. Ее мимолетное желание взглянуть напоследок на отца не было вызвано какой-либо сильной привязанностью. Совесть не упрекала ее за то, что она так внезапно покинет этого человека, чувства которого к себе она не понимала, даже не видела. В ней говорила только инстинктивная привязанность к прежней жизни, давним привычкам, знакомым лицам, та боязнь перед окончательным, которая таится в груди у всякого человека и пресекает в корне множество деяний и поступков как героических, так и преступных. В течение целого ряда лет она жила между матерью и отцом, из которых первая была так сильна в своей слабости, а второй—так слаб там, где мог бы проявить себя таким сильным. Между этими двумя существами, столь несходными, столь враждебными, она стояла равнодушно, испытывая только чувство недоумения и гнева по поводу своего собственного существования. Ей казалось чем-то таким бессмысленным, таким унижительным быть заброшенной в эту деревушку и видеть, как дни один за другим уходят в прошлое, не принося с собою ни надежд, ни желаний, ни цели, которые оправдали бы ту бесконечно-томительную жизнь, на которую она была обречена. Она плохо верила в мечты своего отца и не сочувствовала им; зато дикий бред ее матери задевал какие-то ответные струны в самой глубине ее отчаявшегося сердца, и она грезила собственными грезами с упорной сосредоточенностью узника, мечтающего о свободе в стенах своей тюремной кельи. С приходом Дэйна ей открылся путь к свободе,—стоило только повиноваться зарождавшимся в ней новым стремлениям. К ее радостному изумлению ей казалось, что она читает в его очах ответ на все запросы своего сердца. Теперь ей стали ясны смысл и цель жизни, и перед лицом этой торжественно разоблаченной тайны она с презрением отринула свое прошлое с его унылыми думами, горькими чувствами и слабенькими привязанностями, поблекшими и погибшими от соприкосновения с пламенной страстью.

Миссис Олмэйр отвязала челнок Найны и с трудом выпрямилась, держа в руке канат и глядя на дочь.

— Скорее,—сказала она:—уезжай, пока луна еще не взошла и на реке темно. Я боюсь невольников Абдуллы.

Негодяи часто бродят по ночам и могут заметить и проследить тебя. В челноке два весла.

Найна подошла к матери и робко и легко коснулась губами ее морщинистого лба. Миссис Олмэйр презрительно фыркнула в ответ на эту ласку, которая, однако, она чувствовала, может, пожалуй, вызвать такой же ответ.

— Увижу ли я тебя когда-нибудь, мать?—спросила Найна.

— Нет,—отвечала миссис Олмэйр после короткого молчания.—Тебе не зачем возвращаться сюда, где суждено умереть мне. Ты будешь жить далеко отсюда, жить в могуществе и славе. Когда я услышу о том, что белые люди изгоняются с наших островов, тогда я пойму, что ты жива и помнишь мои слова.

— Я всегда буду их помнить,—отвечала Найна серьезно,—но в чем моя сила и что я могу сделать?

— Не позволяй ему слишком долго смотреть себе в очи или покоить голову у тебя на коленях, напоминай ему, что мужчина должен прежде всего сражаться, а потом уже отдыхать. Если же он будет медлить, то сама подай ему его меч и прикажи ему итти, как подобает жене могущественного государя, когда приближается враг. Пусть он избивает белых торговцев, приходящих к нам с молитвами на устах и с заряженными ружьями в руках. Ах,—заклчила она со вздохом,—они рассеяны по всем морям и по всем берегам; и как их много!

Она повернула челнок по направлению к реке, но продолжала опираться на борт рукой в задумчивой нерешительности. Найна уперлась в берег веслом, готовая оттолкнуться на середину потока.

— Что это, мать?—тихо спросила она.—Слышала ты или нет?

— Нет,—отвечала рассеянно миссис Олмэйр.—Слушай, Найна,—резко прибавила она после небольшой паузы,—впоследствии кроме тебя будут и другие женщины...

Подавленный крик раздался в лодке, и весло с грохотом покатилося на дно челнока. Найна выронила его, протянув вперед руки в жесте протеста и отрицания. Миссис Олмэйр упала на колени и перегнулась через борт челнока, приблизив лицо свое к лицу дочери.

— Другие женщины будут непременно,—твердо повторила она.—Я потому говорю тебе об этом, что ты наполовину белая и можешь забыть, что он великий государь и что так оно и должно быть. Скрывай свою злобу, и пусть он никогда не прочтет на твоём лице скорбь, снедающую твоё сердце. Встречай его всегда с радостью во взоре и со сло-

вами мудрости на устах, ибо к тебе прибегнет он во дни скорби и сомнений. Пока он обращает взор свой на многих женщин, до тех пор твоя власть непоколебима; но если только появится одна, с которой он начнет забывать тебя...

— Я этого не переживу!—воскликнула Найна и закрыла лицо обеими руками.—Не говори так, мать. Это невозможно.

— Тогда,—твердо продолжала миссис Олмэйр,—тогда, Найна, не щади этой женщины.

Ухватившись за борт, она проталкивала челнок в сторону потока.

— Ты, кажется, плачешь?—сурово спросила она у дочери, сидевшей с прижатыми к лицу руками.—Вставай и берись за весло; он довольно ждал. И помни, Найна—не давай пощады; а если тебе придется наносить удар, то наноси его твердой рукою.

Она собралась с силами и, перегнувшись всем телом над водою, вытолкнула легкую лодочку далеко в реку. Когда же она оправилась от сделанного ею усилия, то напрасно пыталась отыскать глазами челнок; он исчез, точно растворился в белом тумане, нависшем над теплыми водами Пантэя. Миссис Олмэйр стояла еще на коленях, прислушиваясь; потом тяжело вздохнула и поднялась на ноги. Две слезы медленно скатились по ее увядшим щекам. Она поспешила отереть их прядью своих седых волос, точно стыдясь самой себя, но так и не смогла подавить другого глубокого вздоха; у нее было тяжело на сердце, и она сильно страдала, так как не привыкла к таким нежным переживаниям. На этот раз ей почудилось, что она слышит легкий шум, как бы отголосок своего собственного вздоха, и она замерла на месте, напрыгая слух, чтобы уловить малейший шорох, и с опасением поглядывая на окружающие ее кусты.

— Кто там?—спросила она дрогнувшим голосом, в то время как ее воображение населяло речной берег какими-то призрачными видениями.—Кто там?—повторила она чуть слышно.

Ответа не было. Только река продолжала уныло и однозвучно журчать за белым покровом, то повышая голос на минуту, то снова понижая его до тихого плеска разбивающихся о берег струек.

Миссис Олмэйр покачала головою, словно отвечая на свои собственные мысли, и торопливо пошла прочь от кустов, зорко осматриваясь по сторонам. Она направилась прямо к кухонному навесу, так как заметила, что остатки огня тлеют там ярче обыкновенного, точно кто-то подбросил на них свежего топлива в течение вечера. Ей навстречу поднялся

Бабалатчи, сидевший на корточках в теплом сиянии, и вышел к ней в тень.

— Уехала она?—быстро спросил озабоченный сановник.

— Да,—отвечала миссис Олмэйр.—А что делают белые люди? Когда ты оставил их?

— Думается мне, что они теперь уже спят. Хоть бы они никогда не просыпались!—с жаром воскликнул Бабалатчи.— О, это сущие дьяволы! И какого шума они наделали из-за этой злосчастной падали! Главный вождь дважды замахнулся на меня и грозил привязать меня к дереву. Привязать к дереву! Меня!—повторял он, колотя себя в грудь рукой.

Миссис Олмэйр язвительно расхохоталась.

— А ты кланялся и просил пощады! Мужи, владеющие оружием, иначе вели себя во дни моей молодости.

— А где они теперь, мужи твоей юности, безумная ты женщина?—сердито возразил Бабалатчи.—Перебиты голландцами! Ага! Но я еще и не так проведу их. Настоящий мужчина знает, когда надо сражаться, а когда мирно лгать. Не будь ты женщиной, ты и сама бы это знала.

Но миссис Олмэйр не слушала его. Она нагнулась вперед, протянула руку и, казалось, прислушивалась к какому-то шороху за навесом.

— Какие странные звуки,—прошептала она с явным беспокойством.—В воздухе носятся звуки скорби, как будто кто-то вздыхает и плачет. Я уже слышала это на берегу реки; и вот сейчас опять.

— Где?—спросил Бабалатчи дрогнувшим голосом.—И что ты слышала?

— Где? Совсем поблизости. Точно кто-то протяжно вздохнул. Как жаль, что я не сожгла бумагу над трупом прежде, чем его зарыли.

— Да,—согласился Бабалатчи.—Но белые люди сразу же бросили его в яму. Но ведь ты знаешь, что смерть постигла его на реке,—весело прибавил он;—его призрак может окликать челноки, но не смеет показываться на суше.

Миссис Олмэйр, выгнувшая шею, чтобы заглянуть за угол навеса, втянула голову обратно.

— Там никого нет,—сказала она успокоенным тоном.— Не пора ли боевой лодке раджи отправляться к лесной поляне?

— Я дожидался ее здесь, потому что сам туда поеду,—объяснил Бабалатчи.—Но я, пожалуй, переправлюсь на ту сторону и посмотрю, что их там задержало. А когда ты приедешь? Раджа согласен укрыть тебя.

— Я переправлюсь через реку еще до рассвета; я не хочу оставлять здесь моих долларов,—молвила миссис Олмэйр.

Они расстались. Бабалатчи пересек двор по направлению к ручью, чтобы отвязать свой челнок, а миссис Олмэйр медленно пошла к дому, поднялась по дощатому скату, прошла через заднюю веранду и вступила в коридор, ведущий на переднюю площадку; однако в дверях она еще раз оглянулась на пустой и безмолвный двор, озаряемый теперь лучами восходящего месяца. Но не успела она скрыться, как неясная фигура вынырнула из-за стволов банановой рощицы, промчалась через освещенное луной пространство и упала в тени у подножия веранды. Могло показаться, будто то мелькнула тень от облака,—так скор и бесшумен был ее бег, если бы не след, легший по потревоженной траве, перистые стебли которой долго еще качались и дрожали в лунном сиянии, прежде чем снова застыли в неподвижном сверкании подобно серебристому узору, вышитому по темному фону.

Миссис Олмэйр зажгла светильник из кокосового ореха, осторожно приподняла красную занавесь и посмотрела на своего мужа, заслонив свет рукой. Олмэйр развалился в кресле; одна рука его свисала вниз, другую он прикрыл нижней частью лица, как бы защищаясь от какого-то невидимого врага, ноги он вытянул прямо перед собою и спал тяжелым сном, не чувствуя на себе враждебного взгляда, изучавшего его с критическим презрением. Опрокинутый стол валялся у его ног среди груды разбитых бутылок и посуды. Можно было подумать, что здесь недавно происходила отчаянная борьба. Это впечатление усиливалось видом стульев, разбросанных по всей веранде и своими беспорядочными и жалкими позами напоминавших пьяных. Только большая качалка-Найны, неподвижно черневшая на своих высоких полозьях, возвышалась над хаосом раскинутой мебели, с неизменным достоинством и терпением поджидая свою госпожу.

Взглянув в последний раз с ненавистью на спящего, миссис Олмэйр прошла за занавесью в свою собственную комнату. Две летучих мыши, ободренные темнотою и спокойствием, снова начали молчаливо носиться около головы Олмэйра. Долгое время ничто не нарушало глубокой тишины дома, кроме тяжелого дыхания спящего и тихого звона серебра в руках готовящейся к побегу женщины. Месяц стоял высоко над ночным туманом, и в его возрастающем свете все предметы на веранде резко выделялись черными теневыми пятнами со всем откровенным безобразием бес-

порядка; героически-огромная карикатура на спящего Олмэйра появилась за его спиной на грязной стенной штукатурке с фантастически преувеличенными подробностями. Недовольные летучие мыши отправились искать более темного местечка; выползла ящерица на свет, двигаясь короткими, пугливыми бросками; ей понравилась белизна скатерти, и она застыла на ней в бездыханной неподвижности, которая походила бы на смерть, если бы не мелодичные призывы, которыми она обменивалась с другим, менее смелым товарищем, прятавшимся во дворе в мусоре. Потом в коридоре заскрипели половицы, ящерица скрылась, а Олмэйр беспокойно задвигался и начал вздыхать; мало-по-малу от бесчувственного небытия пьяного сна через тревожную полудремоту он переходил к пробуждению. Под гнетом кошмара голова Олмэйра закачалась из стороны в сторону. Небеса опустились на него подобно тяжелой мантии, и их складки, усеянные звездами, влачили далеко под ним. Звезды над ним, звезды вокруг него; а из толпы созвездий у его ног до него доносился лепет, полный мольбы и слез, и скорбные лица мелькали перед ним среди ярких клубов света, наполнявших бесконечное пространство внизу. Как избавиться от назойливых и жалобных воплей и от неподвижных печальных взглядов этих столпившихся вокруг него лиц? Олмэйру казалось, что он задыхается под давящей тяжестью миров, навалившихся на его ноющие плечи. Только бы уйти! Но как? Если он пошевелинется, то ступит в ничто и погибнет в грохочущем крушении того мироздания, которому служит единственной опорой. Что говорят голоса? Они молят его сойти с места. Зачем? Чтобы двинуться навстречу гибели? Едва ли! Бессмысленность всего этого возмутила его. Он тверже уперся ногами обо что-то и напряг мускулы, героически решившись пронести свою ношу до самого конца веков. И проходили века этого нечеловеческого подвига, и бешено носились вокруг него миры, а горестные голоса продолжали все так же жалобно шептать, моля его уступить, отказаться, пока не поздно; и наконец, таинственная сила, возложившая на него гигантскую задачу, видимо решила погубить его. Он с ужасом почувствовал, как неодолимая рука трясет его за плечо, а хор голосов звучит все громче и громче, отчаянно моля поспешить, поспешить, пока не поздно. Он чувствовал, что скользит, теряет равновесие, что кто-то тащит его за ноги, что он падает. Он тихо вскрикнул. От ужасов погибающего мироздания он перешел в состояние полусна, над которым все еще продолжали тяготеть чары его видений.

— Что? Что такое? — пробормотал он сквозь сон, не двигаясь и не открывая глаз. Он все еще чувствовал тяжесть в голове и не решался поднять веки. В ушах его раздавались звуки молящего шопота. — Сплю я еще или нет? Почему я слышу голоса? — сквозь сон рассуждал он сам с собою. Я все еще не могу опомниться от этого ужасного кошмара. Я был очень сильно пьян. Кто это трясет меня? Я все еще сплю. Надо открыть глаза и покончить со всем этим. Я все еще не вполне проснулся, это ясно.

Он сделал усилие, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, и прямо перед собою увидел лицо, уставившее на него неподвижные белки глаз. Он снова зажмурился в недоуменном ужасе и выпрямился в кресле, дрожа всем телом. Что это было за видение? Разумеется, плод его собственного воображения. Его нервы испытали накануне сильное потрясение; да к тому же он еще и напился. Он ничего больше не увидит, если соберется с духом и посмотрит опять. Он сейчас посмотрит, только вот придет в себя, успокоится немного. Вот так. Ну, а теперь посмотрим.

Он взглянул. Женская фигура, вся облитая стальным светом, стояла на дальнем конце веранды лицом к нему и умоляюще протягивала к нему руки; а в пространстве, отделявшем его от этого навязчивого призрака, звучали речи, поражавшие его слух набором каких-то мучительных фраз; он не мог понять их смысла, хотя и напрягал для этого все силы своего мозга. Кто говорил с ним по-малайски? Кто убежал? Почему поздно — и для чего? Что значили эти слова любви и ненависти, так странно переплетающиеся между собою, эти вечно повторявшиеся имена — Найна, Дэйн; Дэйн, Найна? Дэйн был мертв, а Найна спала, не подозревая переживаемого им сейчас ужаса. Неужели он вечно будет мучиться, наяву и во сне, днем и ночью? Что значит все это?

Он громко выкрикнул последние слова. Призрачная женщина попыталась от него и отступила назад к двери; раздался крик. Выведенный из себя тем, что не в силах был понять сущности своего мучения, Олмэйр бросился на привидение; оно увернулось от него, и он со всего размаху ударился об стену. Быстрее молнии он повернул назад и яростно устремился вслед убегающей, пронзительно кричащей фигуре; крики ее еще больше усиливали его гнев. Он гнался за нею, перепрыгивал через мебель, бегал вокруг опрокинутого стола и наконец загнал ее в угол за качалкой Найны. Они метались то вправо, то влево; кресло отчаянно качалось между ними; она вскрикивала каждый раз, как он

протягивал руку, чтобы схватить ее, а он сквозь крепко стиснутые зубы бросал бессмысленные ругательства. О, что за адский шум! Голова его готова была расколоться на куски. Этот шум убьет его! Шум необходимо прекратить! Безумное желание удавить это вопящее создание заставило Олмэйра с размаха броситься через кресло и отчаянно вцепиться в фигуру; они вместе покатались на пол в облаке пыли, среди обломков кресла. Под тяжестью Олмэйра последний вопль замер слабым клокотанием, и Олмэйру наконец стало легче, наступила тишина.

Он вглядывался в женское лицо, лежавшее под ним. Это была живая, настоящая женщина. И он знал ее. Что за наваждение! Ведь это же Тамина! Он вскочил на ноги, стыдясь своего бешенства, и в замешательстве отирал себе лоб. Девушка с трудом поднялась на колени и обняла его ноги с безумной мольбой о пощаде.

— Не бойся,—сказал он, поднимая ее.—Я ничего тебе не сделаю. Но зачем ты приходишь ко мне в дом ночью? Если же тебе необходимо было прийти, то почему ты не отправилась за занавеску, где спят женщины?

— Комната за занавеской пуста,—отвечала Тамина, тяжело переводя дыхание после каждого слова.—В твоём доме, Тюан, нет больше женщин. Прежде чем разбудить тебя, я дождалась, чтобы ушла старая Мем. Но мне нужны не твои женщины, а ты сам.

— Старая Мем?—переспросил Олмэйр.—Ты говоришь о моей жене?

Она кивнула головой.

— Но разве ты боишься моей дочери?—продолжал Олмэйр.

— Неужели ты не слышал меня?—воскликнула она.—Ведь я же долго говорила с тобою, куда ты лежал здесь с закрытыми глазами! Она тоже ушла.

— Я спал. Разве ты не умеешь разобрать, когда человек спит, когда нет?

— Иногда,—отвечала Тамина, понизив голос,—иногда дух витает близ спящего тела и слышит. Я долго говорила с тобою, прежде чем дотронуться до тебя, и я говорила негромко, чтобы дух не испугался внезапного шума и не покинул тебя в добычу вечному сну. Я только тогда взяла тебя за плечо, когда ты начал бормотать непонятные для меня слова. Так, значит, ты ничего не слышал и ничего не знаешь?

— Я ничего не слышал из того, что ты говорила. Расскажи все сначала, если ты хочешь, чтобы я что-нибудь понял.

Он взял ее за плечо и повел ее по веранде ближе к свету. Она не сопротивлялась. Она ломала руки с таким выражением скорби, что ему начало становиться страшно.

— Говори же, — сказал он. — Ты на шумела так, что могла бы разбудить даже мертвых; а между тем ни одна живая душа не пришла, — прибавил он тревожным шопотом. — Уж не лишилась ли ты вдруг языка? Да говори же! — повторил он.

После недолгой борьбы с ее дрожащих уст хлынул целый поток слов, и она поведала ему о любви Найны и о своей собственной ревности. Несколько раз он бросал на нее гневные взоры и приказывал ей замолчать; но он не властен был остановить эти звуки, лившиеся, как ему казалось, горячей волною, бушевавшие у его ног и поднимавшиеся жгучими волнами все выше и выше вокруг него; они затопляли его сердце, жгли его губы точно расплавленным свинцом, затмевали ему зрение, обжигали, смыкались над его головою, убийственные, безжалостные. Когда она говорила об обмане, жертвою которого он сделался в тот самый день, о смерти Дэйна, он взглянул на нее так грозно, что она смутилась на мгновение и оробела; но он тут же отвернулся; лицо его внезапно утратило всякое выражение, и он окаменевшим взглядом уставился куда-то в речную даль. Ах, река! Его старый друг и враг! Она всегда говорила с ним одинаковым голосом, из года в год протекая перед ним, принося то удачу, то разочарование, то счастье, то страдание на своей изменчиво неизменной поверхности сверкающих струй и крутящихся водоворотов. Много лет под ряд он прислушивался к ее бесстрастному, успокаивающему лепету; порою он звучал ему как песня надежды, порою как гимн торжества или ободрения; чаще всего она пела ему об утешении, говорила о грядущих лучших годах. Столько лет! Столько лет! Теперь же, под аккомпанемент все того же лепета, он прислушивался к медленному и тяжкому биению своего сердца, внимательно прислушивался, удивляясь правильности его ударов. Он машинально принялся считать их. Раз, два. Но к чему будет останавливаться. Никакое сердце не в состоянии долгое время так страдать и так правильно биться. Эти мерные удары, напоминающие глухой барабанный бой и отдающиеся у него в ушах, скоро должны затихнуть. Но нет — биение продолжается, непрерывное и жестокое. Это уже выше сил человеческих; ну, что же — последний это удар или за ним будет еще другой? Долго ли это продлится, о боже? Его рука бессознательно все сильнее тяготела на плече девушки, и последние слова своей

повести она произнесла, припав к его ногам со слезами страдания, стыда и гнева. Неужели месть уйдет от нее? Этот белый человек подобен бесчувственному камню. Нет, видно, поздно, поздно!

— И ты видела, как она уехала?—раздался над ее головою хриплый голос Олмэйра.

— Да ведь я же сказала тебе!—рыдала она, тихонько пытаясь высвободить свое плечо из сжимавших его рук.—Я видела, как старая ведьма оттолкнула челнок. Я спряталась в траве и слышала каждое слово. Та, которую мы называли „белой Мем“, хотела вернуться домой, взглянуть тебе в лицо, но старуха запретила ей это и...

Она упала еще ниже, на локоть, изогнувшись под давлением тяжелой руки, и подняла к нему лицо со злобно-горящими глазами.

— И та послушалась,—закричала она, не то смеясь, не то плача от боли.—Пусти меня, Тюан! За что ты сердишься на меня? Торопись, или будет поздно отомстить обманщице!

Олмэйр заставил ее подняться на ноги и близко пригнулся к ее лицу; она же отбивалась от него и отворачивалась от его дикого взгляда.

— Кто послал тебя мучить меня?—спросил он с бешенством.—Я не верю тебе. Ты лжешь.

Он внезапно напряг руку и отшвырнул Тамину через веранду к двери. Тамина упала и лежала на полу неподвижно и безгласно, словно жизнь ее осталась у него в руках.

— О, Найна!—прошептал Олмэйр. В голосе его укоризна и любовь как бы сливались, переходили в нежность, полную муки.—О, Найна! Я не верю!

Легкий ветерок потянул с реки, пробежал по двору, волной колыхнул траву и, ворвавшись на веранду, с бесконечной нежностью и лаской овеял чело Олмэйра своим прохладным дыханием. Занавеска в дверях женской комнаты взвилась и через мгновение опять повисла с жуткой безжизненностью. Он вперил взор в колышущуюся ткань.

— Найна!—закричал Олмэйр.—Где ты, Найна?

Ветерок порхнул из дома трепетным вздохом—и все стихло.

Олмэйр закрыл лицо руками, словно силился отогнать ужасное видение. Когда же, услышав легкий шелест, он снова открыл его, черной груды у двери уже не было—она исчезла.

ГЛАВА XI

Лунный свет озарял засеянное рисом четырехугольное пространство и освещал гладкую, ровную пелену молодых всходов. Маленький сторожевой шалашик на высоких столбах, куча хвороста рядом с ним, тлеющие остатки костра и растянувшийся около них человек—все это казалось таким крошечным посреди этого незатененного пространства, таким расплывчатым в бледно-зеленом сиянии, отражаемом землею. При этом обманчивом освещении старые лесные деревья, окаймлявшие поляну с трех сторон, связанные между собою сетью спутанных ползучих растений, взирали на юную жизнь, потерявших веру в свою силу. Безжалостные ползучие растения, похожие на канаты, обвивали могучие стволы, перекидывались с дерева на дерево, свисали колючими фестонами с нижних ветвей и, вытягивая вверх тонкие щупальцы к самым тонким веточкам, несли смерть своим жертвам в молчаливом и буйном восторге разрушения.

Вдоль четвертой стороны поляны, выгибавшейся параллельно рукаву Пантэя, по которому только и можно было добраться до нее, шла сплошная черная полоса молодых деревьев, кустарников и густой молодой поросли, в одном только месте прерывавшаяся узкой просекой. Тут начиналась такая же узкая тропинка, ведшая от берега к шалашу, выстроенному ночными сторожами на то время, когда придет пора охранять молодые всходы от нашествий кабанов. Тропинка оканчивалась круглой площадкой у подножия столбов, поддерживавших шалаша. Площадка была усыпана золой и обуглившимися головешками. Посреди этой площадки, близ тускло мерцающего костра, лежал Дэйнь.

Он нетерпеливо вздохнул и повернулся на другой бок. Подложив согнутую руку под голову, он тихо улегся лицом к догорающему огню. Раскаленные уголья отбрасывали кружок красноватого сияния, отражались в его широко-раскрытых глазах, а при каждом его вздохе мелкий белый пепел—остаток от прежних костров—взвивался легким облачком перед его раскрытыми губами и улетал от теплых

углей вверх—в потоки лунного света, озарявшие участок Буланджи. Тело Дэйна было измучено трудами и усилиями последних дней, а душа еще более истерзана напряженным, одиноким ожиданием решения своей участи. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Он слышал пушечный выстрел с катера, знал, что жизнь его находится в ненадежных руках и что враги его близко. В течение всего этого медленно тянувшегося дня он бродил по опушке леса или прятался в кустах вдоль потока, высматривая, не появится ли какой-нибудь признак опасности. Он не боялся смерти, но страстно желал жить, потому что жизнь для него заключалась в Найне. Она обещала прийти к нему, последовать за ним, разделить с ним его опасности и его величие. Рука об руку с нею, он не боялся опасностей; но без нее в жизни для него не могло быть ни радости, ни красоты. Съежившись в своем укромном тенистом тайнике, он закрывал глаза, пытаясь вызвать в своем воображении полный грации и обаяния белоснежный образ, олицетворявший для него начало и конец жизни. Зажмурив глаза, стиснув зубы, он неимоверным усилием страстной воли пытался удержать это упоительное видение. Напрасно! Образ Найны померк и скрылся, а на сердце ему тяжелым гнетом легло другое видение—видение вооруженных людей, свирепых лиц, сверкающего оружия; ему чудился гул возбужденных, торжествующих голосов в ту минуту, как они найдут его в его убежище. Испуганный яркостью своего видения, он открыл глаза, выбежал на свет и снова принялся бесцельно бродить вокруг поляны. Проходя усталым шагом по опушке леса, он по временам вглядывался в мрачную тень, манящую своей обманчивой свежестью, пугающую своей беспросветной мглой, в которой погребены были бесчисленные поколения гниющих деревьев и в которой их потомки стояли в своей темной листве, как в траурных одеждах, огромные, беспомощные, в ожидании своей очереди. Только одни паразиты, казалось, и жили там, извилистыми путями прорываясь ввысь, к свету и солнцу, питаясь соками умерших и умирающих, увенчивая свои жертвы розовыми и голубыми цветами, сверкавшими в чаще ветвей нелепо и жестоко, точно насмешливая и пронзительная нота в торжественной гармонии обреченных деревьев.

Дэйн подошел к месту, где сеть лиан была прорвана и втоптана в землю, так что образовался свод, под которым как-будто начиналась тропинка. Он подумал, что тут легко было бы укрыться человеку. Он нагнулся, чтобы заглянуть под свод, и услышал сердитое хрюканье. Выводок кабанов,

шумно ломая сучья, бросился в чашу. Кислый запах сырой земли и гниющих листьев перехватил ему горло, и он отшатнулся назад с испуганным лицом, точно его коснулось дыхание смерти. Самый воздух там, внутри, казался мертвым, тяжелым, застоявшимся, отравленным многовековым разложением. Он поплелся дальше, спотыкаясь на ходу, подгоняемый нервным беспокойством, вызывавшим в нем чувство усталости, но в то же время возбуждавшим в нем отвращение к самой даже мысли о неподвижности и покое. Разве он дикарь, чтобы прятаться в лесах? Ведь, может быть, его застигнет смерть там, во мраке, где нельзя даже вздохнуть свободно? Нет, он будет поджидать своих врагов в ярком сиянии солнца, где ему видно небо и где ветер дышит ему в лицо. Он знал, как должен умирать малайский вождь. Им овладело мрачное и отчаянное иступление, эта наследственная особенность его расы. Он дико устремил взор через поляну на просеку в прибрежных кустах. Они придут оттуда. Он уже видел их в своем воображении. Он видел бородастые лица и белые кителя офицеров, игру света на винтовках, взятых на прицел. Но что значит мужество самого доблестного воина против огнестрельного оружия в руках раба? Он выйдет к ним навстречу улыбаясь, с протянутыми в знак покорности руками, покуда не подойдет к ним вплотную. Он будет говорить миролюбивые слова, а тем временем подходить все ближе к ним—еще, еще ближе—так близко, что они смогут прикоснуться к нему руками, протянуть их, чтобы завладеть им. Тут-то и наступит для него время,—он испустит громкий клич, одним прыжком очутится в их толпе с обнаженным криссом в руках и начнет убивать, убивать, убивать, пока не падет наконец под крики своих врагов, насытив взор свой потоками их горячей крови.

Увлеченный собственным своим возбуждением, он выхватил крисс из-под саронга, собрался с духом, бросился вперед, ударил по пустому воздуху—и ничком повалился на землю. Он лежал, ошеломленный, усталый после этого дикого взрыва энергии, и думал, что если ему и суждена такая славная кончина, то она постигнет его раньше, чем он увидится с Найной. Да оно и лучше так. Он чувствовал, что после свидания с нею гибель показалась бы ему чересчур ужасной. Ему, потомку раджей и завоевателей, с ужасом пришлось усумниться в собственной храбрости. Жажда жизни вызвала в нем теперь мучительные угрызения совести. Он не мог пошевелить ни одним членом. Он потерял веру в себя, и в нем ничего не оставалось из того, что

составляет истинного мужчину. Оставалось одно только страдание, ибо так уже предопределено свыше, что оно не покидает тела человека до последнего вздоха. И еще оставался страх. Ему дано было смутно прозреть всю глубину своей страстной любви, познать ее мощь и ее слабость. И ему стало страшно.

Солнце медленно склонялось к западу. Тень от западных лесов легла на поляну, покрыла своей прохладной мантией опаленные солнцем плечи человека и торопливо слилась с тенью других лесов на востоке. Солнце на минуту задержалось в сквозной сени самых высоких ветвей, точно оно, из дружбы, не хотело покинуть распростертое на зеленой пашне тело. Тогда Дэйн, оживленный свежестью вечернего ветерка, сел и оглянулся вокруг себя. В ту же минуту солнце резко нырнуло, как бы стыдясь, что его застали в такой чувствительной позе, и поляна, в течение дня залитая светом, вдруг потонула в сплошном мраке, в котором костер сверкал словно глаз. Дэйн медленно побрел к ручью и, скинув с себя рваный саронг, составлявший его единственную одежду, осторожно погрузился в воду. Он ничего не ел в тот день и не осмеливался подойти днем к реке, чтобы напиться. Он бесшумно поплыл и в то же время хлебнул несколько глотков воды, плескавшейся у его губ. Это облегчило его, и он испытывал большую уверенность и в себе, и в других, когда возвращался к костру. Если бы Лакамба выдал его, то в настоящее время все уже давным-давно было бы кончено. Он разжег огонь, обсушился, а потом снова лег на землю. Спать он не мог, но чувствовал какое-то онемение во всем теле. Беспокойство его улеглось, и он рад был полежать немного, измеряя время по движению звезд. Бесконечной вереницей они высыпали над лесами, а легкие порывы ветерка проносились под безоблачным небом и, казалось, раздували их сияние. Он мечтательно уверял себя снова и снова, что она придет, откуда уверенность в этом не укоренилась в его сердце и не исполнила его глубоким умиротворением. Да, с наступлением завтрашнего дня они будут уже вдвоем далеко на синем море, которое подобно жизни так же, как леса подобны смерти. Он с нежной улыбкой уронил имя Найны в безмолвное пространство и как будто нарушил этим чары тишины: где-то далеко у ручья в ответ ему громко заквакала лягушка. Хор звучного рокота и жалобных призывов раздался из тины вдоль ряда кустов. Дэйн рассмеялся от всего сердца при мысли, что это, вероятно, лягушечья песнь любви. Он почувствовал нежность к лягушкам и стал слушать, радуясь окружавшей его шумной жизни.

Но когда месяц выглянул из-за вершин деревьев, его охватили прежние тревога и нетерпение. Почему ее до сих пор не было? Правда, ей далеко было ехать, а грести приходилось одним веслом. Как ловко, с какой выносливостью ее маленькие ручки владели тяжелым веслом! Это было изумительно—такие крохотные ручки, такие нежные, маленькие ладони, умевшие прикасаться к его щекам легче трепетного крылышка бабочки. Удивительно! Он любовно погрунулся в созерцание этой несказанной тайны; когда же он снова взглянул на месяц, то увидел, что тот поднялся уже на целую ладонь выше деревьев. Приедет ли она? Он заставлял себя лежать неподвижно, преодолевал свое желание вскочить и метаться опять по полюне. Он ворочался с боку на бок; наконец, весь дрожа от напряжения, он лег на спину и среди звезд различил ее лицо, глядевшее на него сверху.

Кваканье лягушек вдруг замолкло. Чуткость преследуемого человека заставила Дэйна встрепетаться, сесть и тревожно насторожиться. Раздалось несколько всплесков воды,—то лягушки поспешно ныряли в ручей вниз головой. Он понял, что они испугались чего-то, и поднялся на ноги, внимательный и подозрительный. Легкий скрип, потом сухой стук, как если бы два куска дерева ударились друг о друга. Кто-то причаливал к берегу! Он схватил охапку хвороста и поднес ее к огню, не отрывая зора от тропинки. Он ждал в нерешимости, покуда что-то не мелькнуло среди кустов; белая фигура выступила из тени и как-будто поплыла к нему в бледном сиянии. Сердце его подпрыгнуло и замерло на мгновение, а потом снова принялось колотиться, потрясая все его тело своими бешеными ударами. Он уронил хворост на тлеющие угли; у него было такое чувство, как будто он громко крикнул ее имя, как будто ринулся к ней навстречу; на самом же деле он не произнес ни слова, не шелохнулся, а стоял безмолвно и неподвижно, как чеканная бронзовая статуя, в лучах лунного сияния, струившегося на его обнаженные плечи. Пока он стоял, переводя дыхание, словно потеряв сознание от остроты восторга, она подошла к нему быстрыми, решительными шагами и, с видом человека, прыгающего с опасной высоты, порывисто обвила его шею обеими руками. Слабый голубоватый огонек прокрался между сухими ветками, и треск разгорающегося костра один только и нарушал тишину в то время, как они стояли лицом к лицу друг с другом в немом волнении свидания. Сухое топливо разом вспыхнуло, яркое горячее пламя взвилось к небу выше их голов, и в свете его каждый из них взглянул в глаза другому.

Ни один не проронил ни слова. Сознание постепенно возвращалось к нему; легкая дрожь пробежала по его неподвижному телу и играла вокруг его рта. Она откинула голову назад и впилась в его глаза взглядом, составляющим могущественнейшее оружие женщины. Такой взгляд волнует сильнее, нежели самое тесное соприкосновение; он опаснее удара кинжалом, потому что тоже разлучает душу с телом, но оставляет телу жизнь, и оно становится игрушкой страстей и желаний; этот взгляд окутывает все тело и в то же время проникает в сокровеннейшие глубины существа. Он приносит человеку поражение в тот самый миг, когда тот полон безумного ликования от только что одержанной победы. Он имеет одинаковое значение как для человека лесов и морей, так и для того, кто живет в еще более опасной пустыне домов и улиц. Тот, кто ощутил в своей груди страшный восторг, пробуждаемый таким взглядом, живет одним только настоящим, и оно превращается для него в рай; он забывает о прошлом,—оно было для него страданием; он не думает о будущем,—оно, может быть, принесет ему гибель. Он мечтает вечно жить в озарении этого взгляда. Это взгляд сдающейся женщины.

Он понял, и точно с него спали его невидимые оковы; он бросился к ее ногам с радостным криком, обхватил ее колени, спрятал голову в складках ее платья и лепетал бессвязные слова любви и благодарности. Никогда еще он не испытывал такого чувства гордости, как в эту минуту, когда лежал у ног женщины, наполовину принадлежавшей по крови к племени его врагов. Она же стояла в глубокой задумчивости и с рассеянной улыбкой играла его волосами. Дело было сделано. Мать ее оказалась права. Этот человек был ее рабом. Глядя на него коленопреклоненного, она испытывала глубокую, жалостливую нежность к человеку, которого даже в мыслях привыкла называть владыкой жизни. Она подняла глаза и печально взглянула на южный небосклон, под которым отныне должен был пролегать их жизненный путь—ее и человека у ее ног. Он сам называл ее светом своей жизни. Она будет ему и светом, и мудростью; она будет его силой и величием; но вдали от людских взоров она прежде всего будет его единственной и постоянной слабостью. Истая женщина! Со всем дивным тщеславием своего пола она уже мечтала создать божество из глины, лежавшей у ее ног, божество, перед которым преклонились бы все остальные. Сама же она довольствовалась тем, что видела его таким, каким он был сейчас, и чувствовала, как он дрожит от малейшего прикосновения ее легких пальцев.

Она грустно смотрела на южное небо, а на ее твердо-очерченных губах как будто играла улыбка. Но разве можно что-нибудь как следует разглядеть в неровном свете сторожевого костра? То могла быть улыбка торжества, или сознания своей силы, или нежной жалости, или, может быть, даже любви.

Она ласково заговорила с ним, и он поднялся на ноги и обвил рукою ее стан со спокойным сознанием права собственности; она же положила голову к нему на плечо, чувствуя себя в безопасности от всего на свете в покровительственном объятии этой руки. Он принадлежал ей со всеми своими недостатками и достоинствами. Его сила и храбрость, удаль и смелость, его первобытная мудрость и дикая хитрость—все это принадлежало ей. Когда они медленно переходили от красного сияния костра под серебряный дождь лучей, падавших на поляну, он склонил голову к ее лицу, и в его глазах она прочла мечтательное упоение безграничного блаженства, вызванного тесным соприкосновением с ее стройным телом, прижимавшимся к нему. Они шли, ритмично раскачиваясь, удаляясь в широко-раскинувшуюся тень леса, как бы сторожившего их счастье в своей торжественной неподвижности. Очертания их фигур расплылись в переменной игре света и тени у подножия могучих деревьев, но звуки нежных слов звенели над безлюдным участком, замирали, наконец замолкли совершенно. Умиравший ветерок со вздохом глубокой скорби пронёсся над землею; в наступившем вслед затем безмолвии земля и небо замерли в печальном созерцании человеческой любви и человеческой слепоты.

Они медленно вернулись к огню. Он сделал для нее сиденье из сухого хвороста, растянулся у ее ног, положил голову к ней на колени и весь отдался мечтательному счастью настоящего. Их голоса раздавались то громче, то тише, нежные или оживленные в зависимости от того, говорили ли они о своей любви, или о своем будущем. С помощью нескольких слов, искусно вставляемых время от времени, она давала направление его мыслям, и он изливал свое счастье в потоке страстных или нежных, серьезных или грозных речей, смотря по вызванному ею настроению. Он говорил ей о своем родном острове, где не звали ни мрачных лесов, ни илистых рек. Он рассказывал об его полях, спускающихся уступами, о светлых журчащих ручейках, бегущих по склонам высоких гор, несущих жизнь полям и радость земледельцам. Он поведал ей также о горной вершине, одиноко возвышающейся над лентой лесов, которой ведомы были тайны пронсящих мимо нее облаков и

которая служила жилищем таинственному духу-покровителю его дома, гению его племени. Он говорил ей о широких горизонтах, овеваемых вихрями, со свистом пронесшимися высоко над вершинами огнедышащих гор. Он рассказывал о своих предках, в незапамятные времена завоевавших тот остров, которым ему предстояло править. Глубоко заинтересованная, она близко нагнулась к нему, а он, слегка поглаживая ее длинные, густые косы, вдруг почувствовал желание заговорить с ней о любимом им море, рассказал ей об его немолчном говоре. Он прислушивался к этому говору еще в детстве, силясь разгадать его тайное значение, которого не постиг еще ни один из живущих на земле. Рассказал об его восхитительном блеске, об его безрассудном и капризном бешенстве, о том, как меняется его поверхность, оставаясь все такою же чарующей, в то время, как глубина его всегда одинаково холодна и жестока и исполнена мудрости всех погубленных ею жизней. Он рассказал ей о том, как его чары на всю жизнь поработают себе людей и как потом оно поглощает их, несмотря на их преданность, потому что гневается на них за то, что они страшатся его загадки, которую оно само же скрывает от всех, даже от тех, кто всего сильнее любит его. Под звук его речей Найна все ниже и ниже склоняла к нему голову. Ее волосы падали ему на лоб, ее дыхание оведало его чело, ее руки обвивали его тело. Нельзя было быть ближе друг к другу, чем они, но все же она скорее угадала, нежели поняла значение заключительных слов, произнесенных им после некоторого колебания: „Море, о Найна, подобно сердцу женщины!“ После слов этих, сказанных слабым шопотом, последовало многозначительное молчание.

Она зажала ему рот быстрым поцелуем и твердо отвечала:

— Но море всегда верно тому, кто не ведает страха, о владыка жизни моей!

Груда темных, лентообразных облаков проползла под звездами, раскинулась наподобие паутины и разлила по небу тьму, предвещая близкую грозу. Первый глухой удар грома прокатился протяжным рокотом со стороны далеких холмов, отозвался эхом от каждого из них и затерялся в лесах Пантэя. Дэйи и Найна вскочили с места, и первый с беспокойством взглянул на небо.

— Бабалатчи пора было бы приехать,—сказал он.—Ночь уже на исходе. Наш путь не близок, а пуля несется быстрее лучшего челнока.

— Не успеет месяц спрятаться за облаками, как он уже будет здесь,— сказала Найна.— Я слышала плеск в воде,— прибавила она.— А ты?

— Это алигатор,— коротко отвечал Дэйи, кинув небрежный взгляд в сторону ручья.— Чем ночь темнее,— продолжал он,— тем короче будет наш путь, потому что тогда мы поплывем по течению главной реки; но если будет светло—даже не светлее, чем сейчас,—то нам придется пробираться по узким каналам стоячей воды и работать веслами.

— Дэйи,—серьезно вмешалась Найна.— Это не алигатор. Я слышала, как зашелестели кусты у того места, где причаливают.

— Да, сказал Дэйи,—прислушавшись.—Это не Баба-латчи,—тот приедет в большой боевой лодке, совершенно открыто. Кто бы ни был приехавший, он старается произвести как можно меньше шума. Но ты слышала, а я уже вижу,—быстро прибавил он.—Это всего один только человек. Стань за мною, Найна. Если это друг, то да будет благословен его приход; если это враг, то он умрет у тебя на глазах.

Он положил руку на рукоять крисса и так ожидал приближения неожиданного посетителя. Костер почти догорел, и маленькие тучки—предвестницы грозы—быстро пронеслись мимо месяца, затемняя поляну своей летучей тенью. Он не мог разглядеть, что это был за человек, и его беспокоило, что тот молча приближался тяжелой поступью, так что он наконец окликнул его и приказал ему остановиться. Тот остановился в нескольких шагах от Дэйи, ожидавшего, что он заговорит, но слышно было только тяжелое дыхание незнакомца. Внезапно мимолетное сияние разлилось по поляне сквозь прорыв тучи, и Дэйи успел разглядеть протянутую к нему руку, державшую какой-то блестящий предмет, услышал возглас Найны: „Отец!“—и во мгновение ока девушка очутилась между ним и револьвером Олмэйра. Громкий вопль Найны разбудил спавшее лесное эхо, и все трое стояли молча, точно дожидаясь наступления тишины для того, чтобы выразить обуревавшие их разнообразные чувства. Увидав Найну, Олмэйр опустил руку и сделал шаг вперед. Дэйи ласково отстранил девушку.

— Разве я дикий зверь, что ты хочешь убить меня врасплох и в темноте, Тюан Олмэйр?—спросил Дэйи, нарушая тягостное молчание.—Подбрось хворосту в огонь,—продолжал он, обращаясь к Найне,—пока я слежу за моим белым другом, чтобы не случилось беды с тобой или со мною, о отрада моего сердца!

Олмэйр заскрежетал зубами и снова поднял руку. Дэйн быстрым прыжком очутился около него; завязалась короткая борьба, во время которой один из зарядов безвредно вспыхнул, после чего смертоносное орудие, вырванное из рук Олмэйра, закружилось в воздухе и упало в кусты. Оба мужчины стояли друг против друга и тяжело дышали. Разгорающийся костер отбрасывал трепетный круг света и озарял полное ужаса лицо Найны, смотревшей на них с протянутыми вперед руками.

— Дэйн!—воскликнула она предостерегающе,—Дэйн!

Тот успокоительно помахал ей рукою и, обернувшись к Олмэйру, сказал с утонченной вежливостью:

— Теперь, Тюан, мы можем и побеседовать. Убить человека легко, но властен ли ты вернуть ему жизнь? Ведь ты мог попасть в нее,—продолжал он, указывая на Найну.—Твоя рука сильно дрожала. За себя я не боялся.

— Найна!—воскликнул Олмэйр.—Вернись ко мне сейчас же! Что за безумие на тебя напало? Чем тебя околдовали? Вернись к своему отцу, и мы вместе постараемся забыть этот ужасный кошмар!

Он открыл объятия в уверенности, что сейчас прижмет ее к сердцу, но она не двинулась. Когда он понял, что она не намерена повиноваться, он почуял смертельный холод на сердце и, ухватившись обеими руками за виски, в немом отчаянии устремил взор в землю. Дэйн за руку подвел Найну к отцу.

— Заговори с ним на языке его народа,—сказал он.—Он скорбит,—да и как не скорбеть, теряя тебя, моя жемчужина! Скажи ему последние слова, которые он услышит из твоих уст. Твой голос должен быть очень сладок ему, но для меня в нем—вся жизнь.

Он выпустил ее руку, отступил на несколько шагов из светлого круга и из темноты наблюдал за ними со спокойным любопытством. Дальняя зарница осветила облака над их головами, а за нею вскоре последовал слабый громовый удар, слившийся со звуком первых слов Олмэйра:

— Да понимаешь ли ты, что ты делаешь? Ты не знаешь, что ждет тебя, если ты последуешь за этим человеком! Или тебе себя не жаль? Разве ты не знаешь, что будешь для него сначала игрушкой, а потом презренной рабыней, батрачкой, прислужницей у какой-нибудь новой возлюбленной этого человека?

Она остановила его мановением руки и, слегка повернув голову, спросила:

— Ты слышишь все это, Дэйн. Правда ли это?

— Клянусь всеми богами!—раздался из темноты страстный ответ,—клянусь небом и землею, твоей головой и моею, что это ложь белого человека. Я навеки отдал мою душу в твои руки, я дышу твоим дыханием, я вижу твоими очами, я мыслю твоими мыслями, и я навеки заключил тебя в свое сердце.

— Ты вор, вор!—закричал взбешенный Олмэйр.

Глубокое молчание наступило за этой вспышкой чувства, после чего снова раздался голос Дэйна.

— Нет, Тюан,—мягко возразил он.—Это тоже неправда. Девушка пришла своею волей. Я только показал ей свою любовь, как подобает мужчине; она вняла воплю моего сердца и пришла ко мне; а выкуп за нее я отдал той, которую ты называешь своею женою.

Олмэйр застонал в последнем пределе стыда и гнева. Найна слегка дотронулась рукою до его плеча, и это прикосновение, легче прикосновения падающего листка, казалось, успокоило его. Он быстро заговорил—на этот раз по-английски.

— Скажи мне,—молвил он,—что они сделали с тобою—твоя мать и этот человек? Что заставило тебя отдаться этому дикарю? Ведь он дикарь! Между ним и тобою есть преграда, которой ничто не в состоянии разрушить. Я вижу в твоих глазах выражение тех, кто лишает себя жизни в припадке умоиступления. Ты безумна. Не улыбайся так, твоя улыбка разрывает мне сердце. Если бы ты тонула у меня на глазах, а я бессилен был бы помочь тебе, то и тогда я не испытывал бы большей муки. Неужели ты забыла все, чему тебя учили столько лет?

— Нет,—перебила она,—я хорошо это помню. Но я помню и то, чем это кончилось. Насмешка за насмешку, презрение за презрение, ненависть за ненависть. Я человек не твоего племени. Между твоим народом и мною тоже есть преграда, которой ничто не в состоянии разрушить. Ты спрашиваешь, почему я ухожу, а я спрашиваю—зачем мне оставаться?

Он зашатался, как от пощечины, но она проворно, без колебаний схватила его под руку и поддержала его.

— Зачем тебе оставаться?—медленно повторял он с озадаченным видом и вдруг замолчал, пораженный полнотою своего несчастья.

— Ты сказал мне вчера,—начала она опять,—что я не понимаю и не вижу твоей любви ко мне,—и это так. Да я и не могу этого. На свете нет двух людей, которые понимали бы друг друга. Они понимают только речь своего

собственного голоса. Ты хотел, чтобы я грезил твоими грезами, видела твои сны-мечты о жизни среди белых лиц, злобно и презрительно исключивших меня из своей среды. Ты говорил, а я тем временем внимала собственному своему голосу; потом пришел он, — и все смолкло; мне звучал лишь шопот его любви. Ты говоришь — он дикарь; а что же такое моя мать, твоя жена?

— Найна! — воскликнул Олмэйр. — Отвернись, не гляди мне в лицо!

Она тотчас же опустила глаза и продолжала говорить совсем тихо, чуть не шопотом.

— С течением времени, — продолжала она, — наши голоса — его и мой — заговорили с такою нежностью, которую только наш слух и мог уловить. Ты говорил тогда о золоте, но слух наш полон был песней нашей любви, и мы не слышали тебя. Потом я поняла, что мы смотрим на вещи глазами друг друга, что он видит то, что незримо никому, кроме него и меня. Мы вошли в страну, куда никто не мог последовать за нами — ты меньше, чем кто-либо. И тут только я начала жить.

Она остановилась. Олмэйр тяжело вздохнул. Она снова заговорила, не поднимая глаз.

— И я хочу жить. Я последую за ним. Белые люди с презрением оттолкнули меня, и теперь я настоящая малайка. Он заключил меня в свои объятия, он положил свою жизнь к моим ногам. Он храбр; он будет могуществен, и вся его храбрость и сила у меня в руках, и я сделаю из него великого человека. Имя его будет славиться еще тогда, когда наши тела давно уже будут покоиться в земле. Я люблю тебя попрежнему, но я никогда не покину его, потому что жить без него не могу.

— Если бы он понимал то, что ты говоришь, он был бы чрезвычайно польщен, — презрительно отозвался Олмэйр. — Ты видишь в нем орудие непонятного мне честолюбия. Довольно, Найна. Если ты не пойдешь сию же минуту к ручью, где Али дожидается с моим челноком, то я прикажу ему вернуться в деревню и привезти сюда голландских офицеров. Вы не можете бежать с этой поляны, потому что я пустил ваш челнок по течению. Если голландцы поймают твоего героя, то они вздернут его. Это так же верно, как то, что я стою здесь. Стулай.

Он шагнул к дочери и взял ее за плечо, другой рукою указывая ей дорогу к берегу.

— Берегись! — воскликнул Дэйи. — Она моя!

Найна вырвалась от отца и смело взглянула в его искаженное злобой лицо.

— Нет, я не пойду,—с отчаянной энергией воскликнула она.—Если он умрет, то я тоже умру.

— Ты умрешь?—сказал презрительно Олмэйр.—О нет! Ты будешь жить во лжи и обмане, покуда какой-нибудь другой бродяга не споет тебе—как это ты сказала?—песню любви! Решайся же скорее.

Он подождал немного, потом произнес с ударением:

— Что же, звать мне Али или нет?

— Зови!—отвечала она по-малайски,—ты, что не умеешь быть верным собственным соплеменникам! Всего несколько дней тому назад ты продавал порох на их погибель; сегодня ты хочешь выдать им человека, которого вчера еще называл своим другом! О Дэйн,—продолжала она, обращаясь к неподвижно стоявшей в темноте внимательной фигуре.—О Дэйн, я несу тебе смерть, а не жизнь, потому что он грозит выдать тебя, если я не откажусь от тебя навеки!

Дэйн вошел в освещенный круг, обнял Найну рукой за шею и шепнул ей на ухо:

— Я могу убить его на месте, прежде чем он успеет вымолвить слово. Твое дело решить—да или нет. Бабалатчи теперь уже наверное близко.

Он выпрямился, снял руку с ее плеч и повернулся к Олмэйру, глядевшему на них с выражением сосредоточенной ярости.

— Нет!—закричала она, в безумном испуге цепляясь за Дэйна.—Нет! Убей меня! Тогда он, может быть, согласится отпустить тебя! Ты не знаешь души белого человека! Ему легче было бы видеть меня мертвою, чем там, где я сейчас стою. Прости меня, рабу свою, но только не надо, не надо!—Она упала к его ногам с безумными рыданиями и повторяла: „Меня убей! Меня!“

— Я хочу тебя живую,—сказал Олмэйр тоже по-малайски с мрачным спокойствием.—Ты уйдешь—не то он будет повешен. Согласна ли ты послушаться?

Дэйн оттолкнул Найну, внезапно размахнулся и ударил Олмэйра прямо в грудь рукоятью своего крисса, повернув острие его к себе.

— Ты видишь! Мне ничего не стоило повернуть меч наоборот,—сказал он своим ровным голосом.—Ступай, Тюан Путай,—прибавил он с достоинством.—Я отдаю тебе твою жизнь и жизнь мою и ее. Такова воля этой женщины, а я—раб ее желаний.

Небо тем временем совершенно померкло, вершины деревьев сделались так же невидимы, как их стволы, потому что терялись в тучах, низко нависших над лесами, рекой и поляной. Все очертания потонули в глубокой темноте, которая, казалось, поглотила все, кроме пространства. Только костер мерцал подобно звездочке, уцелевшей среди уничтожения всего видимого. Когда Дэйн замолк, все стихло, кроме рыданий Найны. Дэйн держал ее в своих объятиях, стоя на коленях у костра. Олмэйр смотрел на них в мрачной задумчивости. Он только собирался раскрыть рот, как их спугнул тихий окрик с реки, за которым раздался плеск многочисленных весел и шум голосов.

— Бабалатчи!—закричал Дэйн, вскакивая на ноги и подхватывая с земли Найну.

— Ада! Ада!—отвечал, подбегая, запыхавшийся сановник и стал между ними.—Бегите к моему челноку,—продолжал он взволнованно и не обращая ни малейшего внимания на Олмэйра.—Бегите! Нам надо ехать. Эта женщина все разболтала.

— Какая женщина?—спросил Дэйн, глядя на Найну. В ту минуту для него на всем свете не существовало никакой другой женщины.

— Сука с белыми зубами! Треклятая невольница Буланджи! Она до тех пор вопила у ворот Абдуллы, пока не разбудила всего Самбира. Теперь белые офицеры плывут сюда, их ведут она и Решид. Не смотри на меня, а уезжай, если жизнь тебе дорога.

— Как ты узнал обо всем?—спросил Олмэйр.

— О, Тюан! Не все ли равно, как я узнал! У меня один только глаз, но я видел свет в доме Абдуллы и на его усадьбе, когда мы плыли мимо. У меня есть уши и, притаившись у берега, я слышал, как посылали гонцов за белыми людьми.

— Согласен ли ты уехать без моей дочери?—обратился Олмэйр к Дэйну, а Бабалатчи затопал ногами от нетерпения и повторил:—Беги, беги немедленно.

— Нет,—твердо отвечал Дэйн.—Я не уеду; я никому не отдам ее.

— Тогда убей меня, а сам спасайся!—рыдала Найна.

Он крепко обнял ее, нежно взглянул на нее и прошептал:—Мы никогда не расстанемся, о Найна!

— Я не стану больше дожидаться!—сердито вмешался Бабалатчи.—Это сплошное безумие. Ни одна женщина в мире не стоит того, чтобы мужчина лишился из-за нее жизни. Я старый человек и хорошо это знаю.

Он поднял с земли свой посох, но, уходя, еще раз обернулся к Дэйну, как бы предлагая ему в последний раз средство спасения. Но Дэйн погрузил лицо в черные косы Найны и не видал последнего призывного взгляда, обращенного к нему.

Бабалатчи исчез во мраке. Вскоре после того они услышали, как боевой челнок отчалил от берега под плеск множества весел, одновременно погружаемых в воду. Почти в ту же минуту со стороны берега показался Али, несший на плече два весла.

— Наш челнок спрятан выше по ручью, Тюан Олмэйр, — сказал он, — в густой чаще кустарников, где лес спускается к самой реке. Я отвел его туда, потому что гребцы Бабалатчи сказали мне, что белые люди спешат сюда.

— Дождись меня там же, — сказал Олмэйр, — но пусть челнок остается спрятанным.

Он молчал, пока шаги Али не замерли в отдалении, и лишь тогда опять повернулся к Найне.

— Найна, — молвил он печальным голосом, — неужели тебе не жаль меня?

Ответа не было. Она даже не повернула головы, которую крепко прижимала к груди Дэйна.

Он собрался было уходить — и остановился. Он видел их неподвижные фигуры, озаряемые тусклым мерцанием костра, ее спину со сбегаящими по белому платью волнами черных волос и спокойное лицо Дэйна, смотревшее на него поверх ее головы.

— Не могу! — простонал он про себя. После долгой паузы он заговорил опять, несколько тише прежнего, неверным голосом. — Это было бы чересчур позорно. Я белый человек. — Тут он совсем ослабел и продолжал слезливым тоном. — Я белый человек, из хорошей семьи, из очень хорошей семьи, — повторял он, горько плача. — Это был бы позор — на все острова, — единственный белый человек на восточном побережье... Нет, этого нельзя допустить — чтобы белые люди нашли мою дочь с этим малайцем! Мою дочь! — закричал он с нотой отчаяния в голосе.

Через несколько времени он овладел собою и внятно произнес:

— Я никогда не прощу тебе, Найна, никогда. Если бы даже ты вернулась теперь ко мне, воспоминание об этой ночи навсегда отравило бы мне жизнь. Я постараюсь забыть. У меня нет дочери. Была у меня в доме женщина метиска, но она сейчас уедет. Слушай ты, Дэйн, или как там тебя

зовут,—я сам отвезу тебя и эту женщину на остров у впадения реки в море. Ступайте оба за мною.

Он пошел вперед вдоль берега параллельно лесу. Али отозвался на его зов, и, пробравшись сквозь чашу кустарников, они сошли в челнок, спрятанный под нависшими над водой ветвями. Дэйн уложил Найну на дно лодки, а сам сел, поддерживая ее голову на своих коленях. Олмэйр и Али оба взялись за весла. В ту самую минуту, как они хотели оттолкнуться от берега, Али предостерегающе зашикал. Все насторожились.

В глубокой тишине, предшествовавшей наступлению грозы, они различили плеск весел, мерно вздымаемых в уключинах. Звуки эти постепенно приближались, и скоро Дэйн, выглядывавший из-за ветвей, разглядел смутные очертания большой белой лодки. Женский голос опасливо произнес:

— Здесь есть место, где вы сможете высадиться, белые люди; немного повыше—вот здесь.

Лодка прошла так близко от беглецов в узком ручье, что лопасти ее весел едва не задели челнока.

— Расступись. Готовься прыгать на берег. Он один и безоружен,—спокойно распорядился по-голландски мужской голос.

Кто-то другой прошептал:

— Я как-будто различаю сквозь кусты пламень костра.— После этого лодка проплыла мимо них и растаяла во мраке.

— Теперь,—быстро шепнул Али,—оттолкнемся от берега и пустимся наутёк.

Маленький челнок выплыл в реку, и в ту минуту, как он устремился вперед, подгоняемый мощными взмахами весел, до слуха беглецов донесся крик ярости.

— Его нет у костра! Рассыпся в цепь, ребята! Искать его!

Синие огоньки вспыхнули в разных концах поляны, и пронзительный женский голос закричал с выражением бешенства и муки:

— Опоздали! О бессмысленные белые люди! Он убежал!

ГЛАВА XII

— Вот то место,—сказал Дэйн, указывая веслом на островок приблизительно в миле расстояния от челнока,— вот то место, куда Бабалатчи обещал выслать за мною лодку с корабля, когда солнце будет стоять у нас над головами. Там мы ее и дождемся.

Сидевший на руле Олмэйр молча кивнул головою и легким поворотом его придал челноку требуемое направление.

Они как-раз выплывали из южного рукава Пантэя; он расстился за ними прямой и длинной полосой воды, сверкавшей между двух стен густой зелени, которые как бы бежали навстречу друг другу и сливались в отдалении. Солнце подымалось над спокойными водами проливов, отмечая свой путь полоской света, скользившей по морской глади и устремлявшейся вверх по реке, точно торопливый вестник жизни и света, посланный к мрачным лесам побережья. В сиянии этой солнечной дорожки колыхался черный челнок, направлявшийся к островку, тонувшему в солнечных лучах; желтый песок его выгнутой бухты сверкал подобно золотой инкрустации на полированной стали безмятежного моря. К югу и к северу от него виднелись другие островки, весело расцвеченные яркой зеленью и желтизной.

На материке темная линия манговых кустов оканчивалась на юге красноватыми утесами Танджонг-Мирры; они выдавались далеко в море, крутые, без малейшего признака тени в прозрачном свете раннего утра.

Песок заскрипел под челноком, когда легкое суденышко с разбега ударилось о берег. Али выскочил на сушу и придержал лодку, а Дэйн вышел из нее, неся на руках Найну, измученную недавними потрясениями и долгим ночным плаванием. Олмэйр вышел из лодки последним и вместе с Али вытащил ее подальше на берег. Потом Али, утомленный долгой греблей, растянулся в тени челнока и немедленно же заснул. Олмэйр присел боком на борт челнока со скрещенными на груди руками и стал глядеть на море по направлению к югу.

Дэйн заботливо уложил Найну в тени кустов, росших посреди островка, а потом бросился рядом с нею на землю и с безмолвным участием принялся следить за тем, как слезы бежали из-под ее сомкнутых век и терялись в мелком песке, на котором они лежали лицом к лицу. Эти слезы и это горе были для него глубокой, жуткой тайной. О чем она скорбит теперь, когда опасность миновала? Он не мог усумниться в ее любви к нему, как не мог усумниться в факте своего собственного существования; но лежа рядом с нею, страстно глядя ей в лицо, глядя на ее слезы, на ее полураскрытые губы, на самое ее дыхание, он тревожно сознавал, что есть в ней что-то такое, чего он не понимает. Она несомненно обладала мудростью совершенных существ. Он вздохнул. Он чувствовал, что между ними стоит какая-то невидимая преграда, которая не допускает его к ней ближе известного расстояния. Ни желание, ни тоска, ни усилие воли, ни даже долгая совместная жизнь не смогут уничтожить этого смутного сознания их различия. Он с трепетом, но вместе с тем с чувством огромной гордости заключил, что все дело в ее собственном, несравненном совершенстве. Она была его, но в то же время это была женщина из другого мира. Его! Его! Он ликовал при одной этой дивной мысли; но слезы ее огорчали его.

Робко и благоговейно взял он в руки прядь ее волос и в порыве неловкой нежности начал утирать ею слезы, блескшие на ее ресницах. Наградой ему была мимолетная улыбка, озарившая ее лицо на короткую долю секунды; но вслед затем слезы еще сильнее полились из ее глаз; этого он уже не в состоянии был выдержать. Он встал и подошел к Олмэйру, все еще погруженному в созерцание моря. Давно, очень давно не видал Олмэйр моря, того моря, которое ведет всюду, приносит все, уносит столь многое. Он почти забыл, почему он здесь находится; ему казалось, что вся его минувшая жизнь как бы снова оживает на этой ровной, бесконечной поверхности, сверкавшей перед его глазами.

Рука Дэйна, легшая к нему на плечо, заставила Олмэйра вздрогнуть и вернуться из какой-то очень далекой страны. Он оглянулся, но глаза его, казалось, смотрели не на Дэйна, а только на то место, на котором тот стоял. Дэйну стало жутко под этим бессознательным взглядом.

— Что такое?—спросил Олмэйр.

— Она плачет,—тихо сказал Дэйн.

— Она плачет! Почему?—равнодушно спросил Олмэйр.

— Об этом - то я и пришел спросить тебя. Моя Рани улыбается, когда глядит на своего возлюбленного; это плачет не она, а белая женщина. Ты должен понимать—почему.

Олмэйр пожал плечами и опять повернулся к морю.

— Пойди, Тюан Путай,—молвил Дэйи.—Пойди к ней. Ее слезы мне страшней, чем гнев богов.

— Правда? Ты еще не раз увидишь их. Она сказала мне, что жить без тебя не может,—отвечал Олмэйр без малейшего проблеска выражения на лице;—возвращайся же поскорее к ней из боязни, как бы тебе не найти ее мертвой.

Он расхохотался таким громким и неприятным смехом, что Дэйи с некоторым опасением воззрился на него, но все же слез с борта лодки и медленно направился к Найне, взглянув на ходу на солнце.

— И вы уедете, когда солнце будет у нас над головами?—спросил он.

— Да, Тюан. Тогда мы уедем,—отвечал Дэйи.

— Мне недолго остается ждать,—пробормотал Олмэйр.—Мне очень важно проводить вас—проводить вас обоих. Крайне важно,—повторил он, останавливаясь и пристально глядя на Дэйи.

Он отправился к Найне, а Дэйи остался позади. Олмэйр подошел к дочери и несколько времени, стоя, глядел на нее. Она не открывала глаз, но, заслышав около себя шаги, тихо всхлипнула и прошептала: Дэйи!

Олмэйр колебался мгновение, потом опустился рядом с нею на песок. Не получая ни слова в ответ, не чувствуя прикосновения, она открыла глаза, увидала отца и быстро села, как бы пораженная ужасом.

— Ах, отец!—тихо шепнула она, и в этом слове прозвучало и сожаление, и страх, и зарождающаяся надежда.

— Я никогда не прощу тебя, Найна,—сказал Олмэйр совершенно бесстрастным голосом.—Ты вырвала у меня сердце в то время, когда я мечтал только о твоём счастье. Ты обманула меня. Твои глаза, в которых мне сияла сама истина, лгали мне, а сколько времени—про то ты сама всех лучше знаешь. Ты гладила мои щеки, а сама считала минуты до захода солнца, который должен был служить тебе сигналом для встречи с этим человеком!

Он умолк, и оба молча сидели рядом, глядя не друг на друга, а на беспредельный морской простор. Слова Олмэйра осушили слезы Найны, и взгляд ее сурово устремился на безбрежную синеву, прозрачную, спокойную и неподвижную, как самое небо. Он тоже смотрел на нее, но черты его

утратили всякое выражение, и в глазах у него не было жизни. Лицо его напоминало чистый лист бумаги, без следа волнения, чувства, рассудка, даже без признака самосознания. Все страсти—сожаление, горе, надежда или гнев—исчезли, стертые рукой судьбы, как-будто все было покончено этим последним ударом и не было больше надобности ни в каких пометках. Те немногие люди, которые еще видали Олмэйра в течение оставшихся ему немногочисленных дней жизни, всегда бывали потрясены видом его лица, не отражавшего ничего из того, что происходило в душе самого человека: так немая стена тюрьмы скрывает грех, раскаяние, страдание, загубленные жизни под холодным равнодушием камня и цемента.

— А что прощать?—спросила Найна, не обращаясь прямо к Олмэйру, а словно рассуждая сама с собой.—Разве я не имею права прожить свою жизнь по-своему, как ты прожил свою? Ты хотел, чтобы я шла намеченной тобою дорогой; но не я виновата, что эта дорога закрылась предо мною.

— Ты ни разу не сказала мне,—пробормотал Олмэйр.

— А ты ни разу не спросил меня,—отвечала она,— и я думала, что ты такой же, как и другие, и что тебе все равно. Я одиноко несла воспоминание о моем унижении; мне не-зачем было говорить тебе, что оно постигло меня потому, что я твоя дочь. Я знала, что ты не можешь отомстить за меня.

— А между тем,—перебил ее Олмэйр,—я только об этом и думал! Я надеялся подарить тебе годы счастья за один короткий миг страдания. Я знал один только способ.

— Да, но он не был моим!—возразила она.—Как мог ты дать мне счастье, не дав в то же время жизни? Жизнь!—повторила она с неожиданным пылом, и слово это звонко пронеслось над морем.—Жизнь — значит могущество и любовь!—прибавила она тихим голосом.

— Это?—сказал Олмэйр и пальцем указал на Дэйна, стоявшего тут же и смотревшего на них с недоуменным любопытством.

— Да, это!—возразила она, прямо посмотрела в лицо отцу и тихо ахнула, впервые заметив неестественную неподвижность его черт.

— Лучше бы я задушил тебя своими собственными руками,—сказал Олмэйр без малейшего признака выражения в голосе. Так велик был контраст между его бесстрашием и невыразимой горечью его переживаний, что удивил даже его самого. Он спросил себя: кто это говорит?—и медленно

осмотрелся вокруг, как бы ожидая увидеть кого-то; потом опять устремил глаза на море.

— Ты говоришь так потому, что тебе непонятен смысл моих слов,—печально сказала она.—Между тобою и моей матерью никогда не было любви. Когда я вернулась в Самбир, то оказалось, что там, где я надеялась обрести мирное пристанище, царили ненависть, отвращение и обоюдное презрение. Я прислушивалась то к твоему, то к ее голосу. И тут я увидела, что ты не можешь понять меня: ведь я была частицей той женщины, которая являлась позором и печалью твоей жизни. Мне приходилось выбирать между вами; я колебалась. Почему ты был так слеп? Неужели ты не видел, как я боролась у тебя на глазах? Но когда явился он, то все сомнения исчезли, и я не видела ничего, кроме сияния голубого безоблачного неба.

— Я доскажу остальное,—перебил ее Олмэйр.—Когда явился этот человек, мне тоже засияли солнце и небесная лазурь. Гром ударил в меня с этого неба, и все вокруг меня сразу замолкло и померкло навеки. Я никогда не прошу тебя, Найна; я завтра же позабуду тебя. Я никогда не прошу тебя,—повторил он с машинальным упорством, а она сидела, опустив голову, как-будто боялась взглянуть на отца.

Ему казалось чрезвычайно важным убедить ее в том, что он никогда не простит ее. Он был убежден, что в основе всех его надежд лежала его вера в нее, что ею вдохновлялось его мужество, его решимость жить и бороться и победить, наконец, ради нее. Теперь же вера его исчезла, загубленная ее же собственными руками, загубленная жестоко, вероломно, исподтишка, в самую минуту успеха. Среди окончательного крушения всех его привязанностей и чувств, среди хаотического смятения его мыслей, над смутным ощущением физической боли, похожей на жгучую боль от удара кнута, которая пронизывает все тело от плеч до пят, одна только мысль оставалась ясной и определенной—не прощать ей, одно страстное желание—забыть ее. Так понимал он свой долг перед самим собою, своею расой, своею почтенной родней, перед целым светом, потрясенным и выведенным из равновесия ужасающей катастрофой его жизни. Он ясно это видел и считал себя сильным человеком. Он всегда гордился своей непоколебимой стойкостью. И тем не менее ему было страшно. Она была для него всем. Что, если вдруг его любовь к ней подорвет в нем чувство собственного достоинства? Она была замечательной женщиной,—он это видел; все скрытое величие его собственной натуры, в которое он искренно верил, перешло в эту стройную девическую фи-

гуру. В ней таилась возможность великих деяний! Что, если вдруг он прижмет ее к сердцу, забудет свой стыд, свой гнев, свое горе и—последует за нею? Что, если он переделает свое сердце—если не цвет кожи—и поможет украсить ей жизнь, поможет сделать так, чтобы существование ее протекало под охраной двух привязанностей, уберігающих ее от всякой беды? Что, если вдруг он скажет ей, что его любовь к ней сильнее, чем...—Я никогда не прошу тебя, Найна!—закричал он и бешено вскочил в ужасе, нахлынувшем на него при этих представлениях.

В последний раз в жизни он так возвысил голос. С этих пор он говорил всегда монотонным шопотом, точно инструмент, в котором от тяжелого удара со звоном порвались все струны, кроме одной.

Она встала с места и взглянула на него. Сила его голоса утешила ее, принеся ей инстинктивную уверенность в его любви, и она схватилась за жалкие остатки этой привязанности с беззащитной жадностью женщины; ибо женщины ведь отчаянно цепляются за малейшие обрывки и обломки любви—всех родов любви—как за что-то такое, что принадлежит им по праву и составляет самую сущность их жизни. Она положила обе руки Олмэйру на плечи, взглянула на него полу-нежно, полу-игриво и сказала:

— Ты говоришь так потому, что любишь меня.

Олмэйр отрицательно замотал головой.

— Нет, любишь,—мягко настаивала она и, помолчав немного, прибавила:—и ты никогда меня не забудешь.

Олмэйр слегка вздрогнул. Она не могла сказать более жестокой вещи.

— Вон плывет сюда лодка,—сказал Дэйи, протянув руку по направлению к черной точке, появившейся на море между берегом и островком.

Все устремили взгляд на нее и молча ждали, покуда маленький челнок не пристал к берегу. Из него вышел человек и направился к ним, но в нескольких шагах от них он остановился в нерешимости.

— В чем дело?—спросил Дэйи.

— Мы получили ночью тайное приказание—увезти с этого острова мужчину и женщину. Женщину я вижу; но который из вас тот мужчина?

— Пойдем, радость очей моих,—обратился Дэйи к Найне.—Мы уезжаем, и отныне твой голос будет звучать только для моего слуха. Ты в последний раз говорила с Тюаном Путай, отцом твоим. Идем же.

Она поколебалась немного, глядя на Олмэйра, неуклонно смотревшего на море, потом медленно поцеловала его в лоб, и слеза—ее слеза—упала ему на щеку и покатилась по его неподвижному лицу.

— Прощай,—шепнула она и продолжала стоять в нерешимости, покуда он вдруг сам не толкнул ее в объятия Дэйна.

— Если у тебя есть хоть капля жалости ко мне,—сказал Олмэйр так, как если бы повторял затверженный урок,—то уведи эту женщину.

Он стоял очень прямо, откинув назад плечи, высоко подняв голову, и следил за тем, как они спускались, обнявшись, к берегу бухты по направлению к челноку. Он смотрел на следы их шагов, запечатлевшиеся на песке, наблюдал за их фигурами, облитыми резким светом отвесных лучей, сильным и дрожащим, как триумфальный возглас медных труб. Он смотрел на смуглые плечи мужчины, на опоясывавший его красный саронг, на высокую, стройную, ослепительную фигуру, которую тот поддерживал. Он смотрел на белое платье, на струящуюся по нему массу черных волос. Он смотрел на то, как они садились в лодку, как челнок все уменьшался и уменьшался в отдалении,—смотрел с бешенством, отчаянием и сожалением в душе. Но лицо его было спокойно, как у статуй Забвения. И, хотя душа его разрывалась на части, Али—теперь проснувшийся и стоявший рядом со своим хозяином—подметил в его чертах выражение людей, живущих в том безнадежном покое, который только слепота может придать человеческому лицу.

Челнок исчез, но Олмэйр все еще стоял неподвижно, пристально глядя на оставленный им след в воде. Али приставил руку к глазам и с любопытством разглядывал берег. По мере того, как солнце клонилось к закату, морской ветерок подымался с севера и рябил зеркальную поверхность воды.

— Дапат!—радостно вскричал Али.—Нашел его, господин! Нашел корабль! Не туда—больше в сторону Панай-Мирры! Ага! Туда смотри—туда! Видишь, хозяин? Совсем ясно! Видишь?

Олмэйр долго и безуспешно следил за пальцем Али. Наконец он различил треугольное пятно желтого света на красном фоне утесов Панай-Мирры. То парус корабля вспыхнул на солнце и теперь ясно выделялся своим веселым цветом на темно-красной скале. Желтый треугольник медленно проплывал мимо скал, пока не обогнул последнего выступа земли и не сверкнул на мгновение на яркой синеве открытого моря. Потом корабль повернул к югу; свет на парусе погас,

и вместе с ним исчезло из глаз и самое судно, поглощенное тенью, падавшей от крутого мыса, который терпеливо и одиноко сторожил морскую пустыню.

Олмэйр не двигался. Журчащая вода оглашала воздух вокруг маленького островка немолчным пением. Мелкие пенящиеся волны смело и весело взбегали на берег, со всей беззаботностью юности, и умирали без сопротивления, быстро и грациозно, в широких дугах белой пены на желтом песке. Высоко в воздухе белые облака летели к югу, словно в погоне за чем-то. Али начинал беспокоиться.

— Хозяин,—робко начал он.—Пора домой. Нам придется долго плыть. Все готово, господин.

— Подожди,—прошептал Олмэйр.

Она уехала, и теперь он должен был забыть. У него было какое-то странное представление о том, что забывать нужно систематически, по порядку. К ужасу Али, он бросился на колени и пополз по песку, тщательно засыпая руками следы Найниных шагов. Он сгребал на них маленькие кучки песку, оставляя за собою ряд крохотных могилочек вплоть до самой воды. Похоронив таким образом последний отгиск Найниных туфелек, он поднялся на ноги, повернулся в сторону мыса, у которого в последний раз видел корабль, и сделал усилие, чтобы еще раз выкрикнуть свое твердое решение не прощать. Али, смотревший на него с беспокойством, видел только, как зашевелились его губы, но не слышал ни малейшего звука. Он топнул ногой. Пусть себе уезжает. У него никогда не было дочери. Он забудет. Он уже забывает.

Али снова подошел к нему, настаивая на немедленном отъезде, и на этот раз он согласился. Они вместе пошли к челноку—Олмэйр впереди, Али за ним. Несмотря на всю свою твердость, Олмэйр имел глубоко-убитый, несчастный вид. Он медленно волочил ноги по прибрежному песку, а рядом с ним, невидимо для Али, шагал тот особенный демон, чье назначение вечно пробуждать и тревожить воспоминания человека и не давать ему забывать смысла и значения жизни. Он нашептывал Олмэйру детскую болтовню давнопрошедших лет. Олмэйр склонил голову на бок, точно прислушивался к речам своего незримого спутника; но лицо его напоминало лицо человека, убитого ударом в спину, лицо, с которого внезапная смерть стерла все ощущения и всякое выражение.

Они провели ночь на реке, привязав челнок под навесом кустов. Они лежали рядом на дне его, подавленные тем крайним утомлением, которое убивает голод, жажду, все чувства и мысли и навеивает неодолимый сон, подобный вре-

менной смерти. На другой день они поплыли дальше и все утро упорно боролись с течением, покада около полудня не достигли поселка и не привязали челнока у пристани Лингарда и К°. Олмэйр прямо прошел в дом; Али последовал за ним, неся весла на плече и думая о том, что хорошо было бы теперь поесть чего-нибудь. Проходя по двору, они обратили внимание на странный, заброшенный вид усадьбы. Али заглянул во все хижины, в которых жили невольники, — они были пусты. На заднем дворе тоже не было ни шума, ни признаков жизни вообще. Огонь под кухонным навесом погас, черная зола его остыла. Высокий, худой мужчина вышел украдкой из банановой рощицы и быстро удалился, оглядываясь на них через плечо большими испуганными глазами. Вероятно, это был бродяга, не имевший хозяина. Их много было в поселке, и все они считали Олмэйра своим патроном. Они ютились на его участке и кое-как существовали; они знали, что с ними не случится ничего худого, разве только белый человек разразится на них потоком ругани, если они попадутся ему под ноги. Они доверяли ему, любили его и ругали его между собою дураком. Олмэйр вошел в дом с задней веранды. Единственное живое существо, попавшееся ему навстречу, была маленькая обезьянка; брошенная на произвол судьбы, изголодавшаяся за эти два дня, она сразу же начала плакать и жаловаться на своем обезьяньем языке, как только увидела знакомое лицо. Олмэйр успокоил ее ласковыми словами и приказал Али принести бананов. Покада тот ходил за ними, он стоял в дверях передней веранды и смотрел на хаотически опрокинутую мебель. В конце концов он поднял стол и присел на него, а обезьянка спустилась со стропил по своей цепочке и вскарабкалась к нему на плечо. Когда им принесли бананов, они позавтракали вместе; оба были голодны и жадно ели, небрежно разбрасывая вокруг себя кожуру, в доверчивом молчании истинной дружбы. Али ушел, сердито ворча, чтобы самому приняться за варку риса, потому что все женщины исчезли из дома неведомо куда. Олмэйру это было, повидимому, все равно. Покончив с едой, он сидел на столе, болтал ногами и смотрел на реку, как бы погруженный в раздумье.

Через несколько времени он встал и подошел к дверям комнаты по правой стороне веранды. То была контора. Контора Лингарда и К°. Он редко входил туда. Дел никаких не было, и он не нуждался в конторе. Дверь была заперта, и он остановился перед нею, закусив губу и стараясь припомнить, где может находиться ключ. Вдруг он вспомнил, что он висит на гвозде в комнате женщин. Он подошел к

двери, над которой красная занавесь висела неподвижными складками, и несколько времени колебался, прежде чем оттолкнуть ее плечом. Казалось, что он преодолевал какое-то большое препятствие. Большой четырехугольник света врывался в окно и обрисовывался на полу. По левую руку Олмэйр увидел большой деревянный ларь миссис Олмэйр, пустой, с откинутой назад крышкой; рядом с ним медные гвозди на европейском дорожном сундуке Найны блестя крупными инициалами Н. О., украшавшими крышку. Несколько платьев Найны, развешенных на деревянных вешалках, казалось, застыли в неподвижности, словно оскорбленные тем, что их бросили. Олмэйр вспомнил, что сам сделал для них вешалки, и заметил, что это были прекрасные вешалки. Но где же ключ? Он осмотрелся и увидел, что ключ висит у той самой двери, у которой он стоит. Ключ весь заржавел. Это обстоятельство раздосадовало было Олмэйра, но он тут же сам на себя подивился. Не все ли равно? Ведь скоро не будет ни ключа, ни двери, вообще ничего! Он постоял с ключом в руке, спрашивая себя, хорошо ли он знает, что собирается делать. Он снова вышел на веранду и в раздумьи остановился у стола. Обезьянка прыгнула на пол, подняла банановую кожуру и принялась прилежно разделять ее на волокна.

— Забыть! — пробормотал Олмэйр, и это слово вызвало в его сознании целый ряд действий, подробную программу того, что надлежало совершить. Теперь он отлично знал, что и как нужно. Сперва одно, потом другое, а там уже само собой придет и забвение. Само собой. У него создалась навязчивая идея, что если только он не успеет забыть до смерти, то ему придется помнить до скончания века. Некоторые вещи должны быть с корнем вырваны из его жизни, растоптаны, уничтожены, забыты. Он долго стоял неподвижно, со страхом раздумывая, что ему, пожалуй, не удастся победить своей памяти. Он страшился смерти и предстоявшей вечности. „Вечность!“ выговорил он вслух, и звук этого слова вывел его из задумчивости. Обезьянка встрепенулась, выронила банановую кожицу и дружелюбно осклабилась на него.

Он подошел к дверям конторы и не без труда открыл ее. Входя, он поднял ногами целое облако пыли. На полу разбросаны были раскрытые книги с вырванными листами; другие книги, черные и мрачные, валялись с таким видом, как будто их никто никогда не открывал. Счетные книги. Он намеревался когда-то изо дня в день отмечать в этих книгах рост своего состояния. Но это было давно, очень,

очень давно. А сколько уже лет не было надобности отмечать что-либо на их страницах, разграфленных красными и синими чертами! Посреди комнаты, подобно остову потерпевшего крушение корабля, валялась на боку большая конторка со сломанной ножкой. Большая часть ящиков вывалилась из нее, обнаружив при этом груды бумаги, пожелтевшей от времени и пыли. Вращающееся кресло стояло на своем месте, но винт не поддался, когда Олмэйр попытался повернуть его. Не беда. Он оставил его в покое и стал медленно оглядывать предметы один за другим. Все эти вещи в свое время стоили больших денег—конторка, бумага, рваные книги, сломанные полки, погребенные под густым слоем пыли. Это были прах и кости погибшего, мертвого дела. Он смотрел на все эти предметы,—только они и оставались ему от стольких лет труда, борьбы, бессилия, уныния, от всех этих мук, столько раз преодолевавшихся. Преодолевавшихся—для чего? Он стоял, погруженный в мрачные размышления над своею прошедшей жизнью, как вдруг ему явственно послышался звонкий детский голосок, щебетавший среди всего этого разрушения. Он испуганно встрепенулся и лихорадочно принялся сгребать в одну кучу разбросанные по полу бумаги, изломал в щепки стул, разбил ящики, ударяя их о конторку, и грудой свалил весь этот хлам в одном из углов комнаты.

Он выбежал из комнаты, захлопнул дверь, повернул ключ, вынул его из замка, подбежал к перилам веранды и широким размахом руки швырнул ключ далеко в реку. Затем он медленно подошел к столу, подозвал обезьянку, отстегнул цепочку и посадил ее к себе за пазуху. После этого он снова присел на стол и принялся пристально глядеть на дверь покинутой комнаты. Он напряженно прислушивался. Он различал сухой шелест, резкий звук трескающегося дерева, жужжанье и как бы хлопанье крыльев внезапно взлетающей птицы, а затем увидал, как тонкая струйка дыма поползла из замочной скважины. Обезьянка заметалась у него за пазухой. Появился Али с вытаращенными от ужаса глазами.

— Хозяин! Дом горит!—крикнул он.

Олмэйр встал и оперся на стол. Он слышал крики удивления и ужаса, долетавшие из деревни. Али ломал руки и громко причитал.

— Перестань шуметь, дурак,—сказал Олмэйр спокойно.—Собери мой гамак и постель и отнеси их в тот дом. Да поживее.

Дым клубами хлынул из щелей двери, и Али, схватив в охапку гамак, одним прыжком соскочил с веранды.

— Хорошо занялось, — пробормотал Олмэйр. — Тише, тише, Джэк, — прибавил он, видя, что обезьянка делала отчаянные усилия, чтобы вырваться из своего заключения.

Дверь треснула сверху до низу, и столб огня и дыма заставил Олмэйра отступить от стола к перилам веранды. Он оставался там до тех пор, пока страшный гул над его головою не показал ему, что огонь охватил и крышу. Тогда он сбежал по лестнице веранды, кашляя, задыхаясь от дыма, вившегося вокруг его головы синеватыми клубами.

По ту сторону канавы, отделявшей Олмэйровский дом от поселка, толпа самбирских обывателей глазела на пылающий дом белого человека. Кирпично-красное пламя, пронизанное на солнце лиловыми отблесками, высоко взвивалось в неподвижном воздухе. Стройный дымный столб поднимался прямо и неподвижно и терялся в ясной лазури неба. На широкой площадке между обоими домами видна была высокая фигура Тюана-Путай; Тюан-Путай, волоча ноги и повесив голову, уходил от горящего дома в сторону Олмэйровского „Каприза“.

Вот при каких обстоятельствах совершился переход Олмэйра на житье в новый дом. Он поселился в новой развалине и в упрямом безумии своего сердца принялся ждать, со скорбью и нетерпением, когда же, наконец, наступит забвение. А оно, как нарочно, не приходило. Он сделал все, что от него зависело, уничтожил малейшие следы существования Найны. И вот теперь каждое утро он спрашивал себя, придет ли долгожданное забвение вместе с закатом, придет ли оно еще до смерти? Ему хотелось прожить лишь столько, сколько нужно для того, чтобы забыть. Устойчивость его собственной памяти вселяла в него ужас, вызывала страх перед смертью; ведь если смерть наступит раньше, чем он достигнет цели своего существования, то ему придется помнить вечно. И еще ему страстно хотелось одиночества. Ему хотелось быть одному; но он не был один. В полумраке ли комнат с их закрытыми ставнями, в ярком ли свете веранды, куда бы он ни пошел, куда бы ни повернул — он всюду видел перед собою маленькую фигурку крошечной девочки с хорошеньким оливковым личиком, длинными черными волосами, в розовом платьице, спадающем с плеч. Девочка глядела на него с нежной доверчивостью любимого ребенка. Али — тот ничего не видел; но даже он замечал присутствие в доме ребенка. В задумчивых беседах вокруг вечерних костров, он часто описывал своим близким деревенским приятелям странное поведение Олмэйра. Его хозяин на старости лет стал колдуном. Али говорил, что нередко после

того, как Тюан-Путай удалялся к себе на ночь, он слышал, как хозяин его с кем-то беседует в своей комнате. Али думал, что то был дух в образе ребенка. О том, что господин его говорил именно с ребенком, Али догадывался по некоторым его словам и выражениям. Хозяин изредка говорил по-малайски, но большей частью по-английски; а Али понимал по-английски. Хозяин то ласково разговаривал с ребенком, то плакал над ним, то смеялся, то бранил его, то молил уйти, даже проклинал его. То был злой и упрямый дух. Али предполагал, что его господин неосторожно вызвал его и теперь не в силах от него избавиться. Его хозяин был очень смел,—он не боялся проклинать духа в его собственном присутствии; а раз даже он вступил с ним в борьбу. Али слышал страшный шум в его комнате, беготню и стоны. То стонал его хозяин. Духи, те не стонут. Его господин был храбр, но безрассуден,—духа нельзя уязвить. Али ожидал найти своего господина на утро мертвым, но тот вышел из своей комнаты раньше обыкновенного, казался гораздо старше, чем накануне, и ничего в тот день не ел.

Вот что рассказывал Али в деревне. Он был гораздо словоохотливее с капитаном Фордом по той простой причине, что тот отпускал деньги на расходы и всем распоряжался. Ежемесячно, в каждое посещение Самбира Фордом, Али должен был являться к нему с докладом об обитателе Олмэйровского „Каприза“. С первого же своего прибытия в Самбир после отъезда Найны, Форд взял на себя управление делами Олмэйра. Оно было несложно. Сарай для товаров был пуст, лодки исчезли, присвоенные—по ночам—отдельными жителями Самбира, нуждавшимися в средствах передвижения. Пристань Лингарда и К° унесло каким-то большим наводнением, и она уплыла вниз по реке, вероятно в поисках более отрадных впечатлений; даже стадо гусей—„единственных гусей на восточном побережье“—переселилось куда-то, предпочитая неведомые опасности дикой жизни унылости своего прежнего жилища. С течением времени почерневшее место, где стоял старый дом, поросло травой, и ничто больше не напоминало о старом жилище, с которым связаны были молодые грёзы Олмэйра, его безумная мечта о блестящей будущности, его пробуждение и его отчаяние.

Форд редко навещал Олмэйра, потому что это была задача не из легких. Сначала тот рассеянно отвечал на шумные расспросы старого моряка относительно его здоровья; он даже пытался поддерживать разговор, справлялся о новостях таким тоном, который ясно доказывал, что никакие известия в мире не представляют для него ни малейшего интереса.

Постепенно он становился все более молчаливым; он не то, чтобы дулся на людей, а просто забывал человеческую речь. Он привык забираться в самую темную комнату дома, где Форду приходилось отыскивать его, идя вслед за скачущей галопом обезьянкой. Обезьянка всегда была на месте, чтобы принять и проводить Форда. Маленькое животное, повицимому, всецело взяло на себя заботу о своем хозяине; всякий раз, когда ему хотелось, чтобы Олмэйр вышел к нему на веранду, оно настойчиво теребило его за полу куртки, пока он послушно не выходил на свет солнца, которого, видимо, так не любил.

В одно прекрасное утро Форд застал его сидящим на полу веранды; он прислонился к стене, ноги его были вытянуты, руки бессильно свисали по бокам. Его лицо, лишенное всякого выражения, его широко раскрытые глаза с неподвижными зрачками, самая неестественность его позы делали его похожим на огромную куклу, сломанную и отброшенную в сторону. Он медленно повернул голову навстречу поднимавшемуся по лестнице Форду.

— Форд,—прошептал он, не вставая с полу,—я не могу забыть.

— В самом деле,—сказал Форд простодушно, прикидываясь веселым;—хотел бы я быть похожим на тебя! Я таки теряю память—верно, к старости. Еще только вчера мой юнга...

Он замолчал, потому что Олмэйр встал, покачнулся и оперся на руку друга.

— Алло! Да ты сегодня бодрее; скоро и совсем будешь молодцом,—весело говорил Форд, хотя внутренне ему становилось жутко.

Олмэйр отпустил его руку, выпрямился, откинув назад голову, и неподвижно глядел на множество солнечных дисков, сиявших в речных струях. Его куртка и широкие брюки мотались по ветру вокруг его исхудалого тела.

— Пусть себе уезжает!—шептал он хриплым голосом.— Пусть уезжает! Завтра я уже забуду. Я человек твердый... твердый как... скала... твердый...

Форд взглянул ему в лицо—и бросился бежать. Шкипер и сам обладал довольно-таки твердым характером, как то могли засвидетельствовать все, плававшие под его начальством,—но даже его мужество не устояло перед твердостью Олмэйра.

В следующий за этим приход парохода в Самбир Али с раннего утра явился на судно с жалобой. Он сообщил Форду, что китаец Джим-Энг втерся к Олмэйру в дом и прожил у них весь последний месяц.

— И они оба курят,—прибавил Али.

— Фьюить! Т.-е. курят опиум?

Али кивнул головой, а Форд задумался; потом он пробормотал про себя: „Бедняга! Теперь уж чем скорее, тем лучше для него!“ После обеда он отправился к нему в дом.

— Что ты тут делаешь?—спросил он у Джим-Энга, бродившего по веранде.

Джим-Энг на ломаном малайском наречии объяснил ему монотонным голосом заправского курильщика опиума, что его дом пришел в ветхость, крыша на нем протекла, а пол провалился. В силу этого и будучи таким давним, давним другом белого человека, он забрал свои деньги, опиум и две трубки и переселился в этот большой дом.

— Места здесь довольно. Он курит, а я живу здесь. Он недолго будет курить,—сказал он в заключение.

— Где он теперь?—спросил Форд.

— В доме. Он спит,—устало отвечал Джим-Энг.

Форд заглянул в дверь. В полутьме, царившей в комнате, он разглядел Олмэйра, лежавшего навзничь на полу, с деревянной скамеечкой под головой, с длинной белой бородой, всклокоченной на груди, с желтым лицом, с полузакрытыми веками, из под которых виднелись белки глаз...

Он вздрогнул и отвернулся. Уходя, он заметил длинную полосу выцветшего алого шелка с китайскими письменами на ней, которую Джим-Энг только что повесил на одном из столбов дома.

— Что это такое?—спросил он.

— Это название дома,—отвечал Джим-Энг своим бесцветным голосом.—Точь-в-точь, как у меня в доме. Очень хорошее название.

Форд посмотрел на него и пошел прочь. Он не знал, что означает сумасшедшая китайская надпись на красном шелку. Если бы он спросил у Джим-Энга, то терпеливый китаец объяснил бы ему с подобающей гордостью, что она означала „Дом небесного блаженства“.

В тот же день вечером Бабалатчи явился навестить капитана Форда. Каюта капитана выходила на палубу, и Бабалатчи сидел верхом на ее высоком пороге, а Форд курил трубку, развалился на койке внутри ее. Пароход отходил на следующее утро, и пожилой сановник по своему обыкновению зашел поболтать перед разлукой.

— Мы получили известия из Бали месяц тому назад,—заметил Бабалатчи.—У старого раджи родился внук, и там царит великое ликование.

Форд так заинтересовался, что даже выпрямился.

— Да,—продолжал Бабалатчи в ответ на его взгляд.— Я сказал ему. Это было перед тем, как он начал курить.

— Ну, и что же?—спросил Форд.

— Я только потому остался в живых,—серьезно объяснил Бабалатчи,—что белый человек очень слаб и упал, когда бросился на меня.—Потом, помолчав немного, он прибавил:— А она без ума от радости.

— Ты говоришь о миссис Олмэйр?

— Да, она живет в доме нашего раджи. Она не скоро еще помрет. Такие женщины долго живут,—сказал Бабалатчи с легким оттенком сожаления в голосе.—У нее есть доллары, она зарыла их в землю, но мы знаем где. Эти люди наделали нам бездну хлопот. Нам пришлось заплатить штраф и выслушать угрозы белых людей, и теперь нам приходится очень остерегаться. Он вздохнул и долго молчал; потом вдруг заговорил с большою силой:

— Быть войне. Дыхание брани веет на островах. Доживу ли я?.. Ах, Тюан,—продолжал он уже спокойнее,—в старину лучше было. Я тогда плавал с мужами из Лануна и брал ночью на абордаж спящие корабли с белыми парусами. Это было до того, как английский раджа воцарился в Кучинге. Мы воевали тогда между собою—и как счастливо мы жили! Теперь же, когда нам приходится воевать с вами, мы можем только умирать!

Он собрался уходить.—Тюан,—сказал он,—помнишь ли ты невольницу Буланджи, ту, из-за которой вышли все эти неприятности?

— Да,—сказал Форд.—Так что же с нею?

— Она исхудала и не могла больше работать. Тогда Буланджи—вор он и пожиратель свиного мяса—отдал мне ее за пятьдесят долларов. Я отослал ее к моим женщинам, чтобы она потолстела. Мне хотелось слышать ее смех, но, видно, она была испорчена и—она умерла два дня тому назад. Нет, Тюан, зачем говорить нехорошие слова? Я стар, это правда, но почему бы мне не радоваться на молодое лицо и на звук молодого голоса в доме?—Он запнулся, а затем прибавил с невеселым смехом:—Я, точно белый человек, болтаю такое, о чем не пристало мужчинам беседовать друг с другом.

И он ушел, сильно опечаленный.

Столпившаяся полукругом перед „Капризом“ Олмэйра куча народу заколыхалась и молча расступилась перед группой людей в белых одеждах и тюрбанах, направлявшихся

к дому. Впереди всех, опираясь на Решида, шествовал Абдулла, а за ним следовали все арабы Самбира. Когда они проходили среди почтительно расступившейся толпы, раздался сдержанный говор, среди которого ясно прозвучало одно только слово: „Мати“. Абдулла остановился и медленно оглянулся по сторонам.

— Он умер?—спросил он.

— Да живешь ты на долгие годы!—дружно ответствовала толпа; затем опять все смолкло.

Абдулла сделал еще несколько шагов и в последний раз очутился лицом к лицу со своим давнишним недругом. Каков бы ни был он при жизни—теперь он был неопасен, потому что лежал, бездыханный и неподвижный, в нежном сиянии раннего утра. Единственный белый человек на восточном побережье умер, и душа его, освобожденная от оков земного безумия, стояла теперь пред лицом бесконечной мудрости. На его обращенном кверху лице лежало ясное выражение, которое бывает у людей, сразу и безболезненно ушедших из мира горя и страданий; оно как бы молчаливо свидетельствовало перед безоблачным небом, что человеку, лежавшему здесь под взорами равнодушных глаз, удалось забыть перед смертью.

Абдулла с грустью взирал на этого неверного, с которым он так долго боролся и которого так часто одолевал. Такова награда правоверных! И все же в старом сердце араба шевелилось сожаление о том, что уходило из его жизни вместе с этим человеком. Он быстро оставлял позади дружбу, вражду, удачи и разочарования, словом все то, что составляет жизнь человека; а впереди его ожидал лишь неизбежный конец. Отныне молитва должна была заполнить остаток дней, дарованных верному последователю пророка! Он взял в руки четки, висевшие у него за поясом.

— Я так нашел его здесь, рано утром,—сказал Аلي тихим и благоговейным голосом.

Абдулла еще раз холодно взглянул на безмятежное лицо.

— Пойдем,—сказал он, обращаясь к Решиду.

Толпа расступалась перед ними, а четки стучали в руках Абдуллы, торжественно и набожно шептавшего молитвы аллаху, многомилостивому и милосердому.

Перевела с английского

М. А. Соломон

О Г Л А В Л Е Н И Е

	СТР.
Предисловие <i>К. Чуковского</i>	7
Глава I	9
„ II	22
„ III	32
„ IV	43
„ V	52
„ VI	64
„ VII	75
„ VIII	88
„ IX	103
„ X	118
„ XI	131
„ XII	147

30
1914
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36